

The illustration depicts a man and a woman sitting on a dark, jagged rock formation on a cliffside. They are both looking out over a vast, blue ocean towards a distant, hazy coastline. The woman, on the left, has reddish-brown hair styled in a bun and is wearing a light green short-sleeved blouse and a dark green skirt. The man, on the right, has dark hair and is wearing a light blue long-sleeved shirt and dark blue trousers. The background features a large, white, craggy cliff face under a pale blue sky. The overall style is a flat, graphic illustration with a muted color palette.

ЭЛИЗАБЕТ
ДЖЕЙН ГОВАРД

ИСХОД

ХРОНИКА СЕМЬИ
КАЗДЕТ
КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

Хроника семьи Казалет

Элизабет Джейн Говард

Исход

«ЭКСМО»

1995

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44

Говард Э.

Исход / Э. Говард — «Эксмо», 1995 — (Хроника семьи Казалет)

ISBN 978-5-04-101274-8

Последствия войны и постепенное наступление новой эры, эры свободы и возможностей, правят судьбами Казалетов в четвертой книге саги. Подросшие Полли, Клэри и Луиза, каждая по-своему, узнают правду о мире взрослых. Тем временем Руперт, Хью и Эдвард должны сделать важные шаги, которые определяют не только их будущее, но и будущее всей семьи. Для Казалетов и всех, кто с ними близок, конец войны сулит новое начало.

УДК 821.111-31

ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-04-101274-8

© Говард Э., 1995

© Эксмо, 1995

Содержание

Благодарности	6
Предисловие	8
Часть 1	9
1. Братья	9
2. Девушки	35
3. Жены	54
4. Отверженные	77
Конец ознакомительного фрагмента.	79

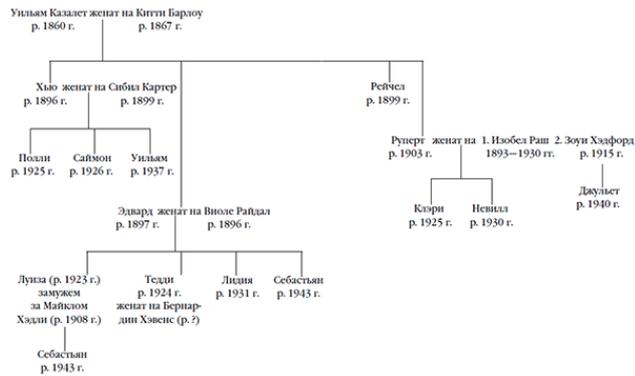
Элизабет Джейн Говард

Исход

*Посвящается Сибилле Бедфорд
с любовью и преклонением*

Благодарности

Хочу выразить признательность Джейн Вуд, которая была моим терпеливым, добрым, бдительным и самым вдохновляющим редактором на протяжении всей работы над тремя из этих четырех томов. Если бы не она, я вряд ли продвинулась бы в этом деле настолько далеко.



Генеалогическое древо семьи КАЗАЛЕТ

СЕМЬЯ КАЗАЛЕТ, ЕЕ РОДСТВЕННИКИ И ДОМОЧАДЦЫ

Уильям Казалет (Бриг)
Китти (Дюши), его жена
Рейчел, их незамужняя дочь

Хью Казалет, старший сын
Сибил, его жена
Полли,
Саймон,
Уильям (Уиллс) } их дети

Эдвард Казалет, второй сын
Вилли, его жена
Луиза,
Тедди,
Лидия
Роланд (Роли) } их дети

Руперт Казалет, третий сын
Зоун (его вторая жена;
первая, Изобел, скончалась
родами Невилла)
Кларисса (Клэри), } дети
Невилл, } Руперта
Джульет — дочь } и Изобел
Зоун и Руперта

Джессика Касл (сестра
Вилли)

Реймонд, ее муж

Анджела,
Кристофер,
Нора,
Джуди } их дети

Миссис Криппс (кухарка)

Эллен (няня)

Айлин (горничная)

Тонбридж (шофер)

Макалпайн (садовник)

Предисловие

Следующее краткое вступление предназначено для тех читателей, которые не знакомы с хрониками семьи Казалет – четырьмя романами, первые три тома которых называются «Беззаботные годы», «Застывшее время» и «Смятение».

Лето 1945 года. Уильям и Китти Казалет, которых родные называют Бриг и Дюши, ведут тихую жизнь в своем поместье Хоум-Плейс в Суссексе. Бриг уже полностью ослеп. У супругов есть незамужняя дочь Рейчел и три сына – все они торгуют лесом, работая в семейной компании. Хью овдовел, Эдвард женат, но у него серьезный роман на стороне, а Руперт, которого считали пропавшим без вести во Франции со времен битвы за Дюнкерк, только что вернулся в Англию, к своей жене Зоуи.

У дочери Эдварда Луизы не ладятся дела в браке с художником-портретистом Майклом Хэдди. Их единственного сына зовут Себастьян. Брат Луизы Тедди, проходящий подготовку на базе ВВС Великобритании в Аризоне, еще не вернулся на родину вместе со своей женой-американкой.

Полли, дочь Хью, и Клэри, дочь Руперта, снимают вместе квартиру в Лондоне. Полли работает художником-оформителем интерьеров, Клэри – в литературном агентстве. Брат Полли Саймон учится в Оксфорде, брат Клэри Невилл – пока еще в школе Стоу.

Пока Руперт был на войне, Зоуи родила ему дочь Джульет.

Рейчел живет, чтобы заботиться о других, с чем зачастую нелегко смириться ее близкой подруге Марго Сидней (Сид), которая преподает игру на скрипке в Лондоне.

У жены Эдварда Вилли есть сестра Джессика Касл, она замужем за Реймондом. У них четверо детей: Анджела, помолвленная с американцем; Кристофер, который живет в фургоне со своей собакой и работает на фермера; Нора, вышедшая замуж за инвалида и превратившая дом Каслов в Суррее в интернат для тяжелораненых; и Джуди, которая все еще учится в закрытой школе.

Мисс Миллимент, домашняя учительница и гувернантка весьма преклонных лет, вынуждена поселиться у Вилли и Эдварда после их возвращения в Лондон.

У любовницы Эдварда Дианы Макинтош родился от него ребенок.

Арчи Лестрейндж, самый давний из друзей Руперта, все еще служит в Адмиралтействе, и почти все члены семьи доверяют ему свои тайны.

События «Исхода» начинаются в июле 1945 года, вскоре после возвращения Руперта в Англию.

Часть 1

1. Братья Июль 1945 года

– ...Вот я и подумала: если я задержусь до осени, вам с лихвой хватит времени, чтобы подыскать кого-нибудь. Естественно, мне не хотелось бы доставлять вам неудобства. – Сказав это, она пошарила в рукаве своего кардигана и, вытащив оттуда белый платочек с кружевами, незаметно попыталась высморкаться. В это время года ее вечно мучила аллергия.

Хью в тревоге уставился на нее.

– Да мне в жизни не найти никого хотя бы отдаленно похожего на вас.

Его комплимент ударил по ней острым камушком, и она вздрогнула: этот разговор заранее пугал именно из-за этого – его доброго отношения.

– Как говорится, незаменимых нет, верно? – отозвалась она, хоть сейчас, когда ей наконец пришлось произнести эти слова вслух, они больше не казались такими уж верными.

– Вы пробыли со мной так долго, что без вас я пропаду. – Когда она только пришла сюда, все девушки носили короткие стрижки-каре; теперь ее каре было уже седым. – Больше двадцати лет прошло, наверное. Надо же, как летит время.

– И не говорите. – Вот и это неверно, с ее точки зрения – за двадцать три года ей ни разу не пришло в голову возразить ему. Сейчас она отчетливо видела, что он расстроен: жилка сбоку у него на лбу обозначилась отчетливее, теперь в любой момент он мог начать беспокойно дотрагиваться до нее и приглаживать волосы.

– Полагаю, – сказал он, оставив в покое собственную прическу, – нет способа, которым я мог бы убедить вас передумать?

Она покачала головой.

– Понимаете, это из-за мамы. Как я уже говорила, больше она не может целыми днями обходиться без помощи.

Последовала краткая пауза, и он сообразил, что они вернулись к тому, с чего начали. Женщина придвинула поближе к нему настольный портсигар из древесины кальмии – тем утром она, как обычно, наполнила его; с одной рукой пользоваться портсигаром Хью было гораздо проще, чем затевать возню с сигаретными пачками, – и подождала, когда он вынет сигарету и прикурит от серебряной зажигалки, которую миссис Хью подарила ему в год коронации. Как раз в том году компании заказали партию древесины вяза для всех скамей аббатства: она видела одну – ту, что мистер Эдвард приобрел потом, – такая прелесть: синий бархат и золотая тесьма. Она гордилась, что это *их* древесину выбрали, чтобы сделать частью истории. Будет о чем вспомнить на пенсии.

– Я только хотела спросить, – сказала она, – вы не возражаете, если я помогу вам подыскать замену?

– А у вас есть кто-то на примете?

– О нет! Просто я подумала, что могла бы помочь отсеивать претендентов, проходящих на собеседование.

– Уверен, вы справитесь с этой задачей гораздо лучше меня. – В его голове запульсировала боль.

– Хотите, я открою окно?

– Откройте. Не годится ему быть наглухо запертым в такой день.

Как только она справилась со шпингалетом и подняла на несколько дюймов тяжелую раму, вместе с теплым ветерком в кабинет ворвались отрывистые, сильные крики старика-газетчика, стоящего снизу на углу: «Спецвыпуск про выборы! Два министра покинули кабинет! Большой перевес у лейбористов! Все подробности в газете!»

– Вы не отправите Томми за газетой, мисс Пирсон? Похоже, новости неважные, но худшее лучше узнавать сразу.

Она сходила за газетой сама, так как конторский посыльный Томми сочетал хроническую неуловимость с медлительностью, которая, как однажды заметил в ее присутствии мистер Руперт, сделала бы честь двупалому ленивцу. Мне будет недоставать их *всех*, твердила она себе, пытаясь рассеять ужасное ощущение неминуемой потери. И это было лишь начало. Предстояли еще проводы в конторе, где все станут желать ей удачи и пить за ее здоровье, и, может быть, – даже *скорее всего*, – соберут деньги на прощальный подарок. А потом она дожидается автобус, который в последний раз отвезет ее до станции, за двадцать минут дойдет пешком от Нью-Кросса до Лабернум-Гроув и дальше по ней, до дома восемьдесят четыре, вставит ключ в дверь, запрется изнутри – этим все и кончится. Мать всегда раздражалась из-за нее, потому что девочка родилась вне брака, да и послушанием не отличалась, о чем слышала от матери всякий раз, когда у той лопалось терпение. Само собой, выходить из дома она *будет* – в магазины, в библиотеку – взять им обеим книги, и, пожалуй, изредка получится сбежать в кино, хотя в тратах придется быть очень осмотрительной. Оставив работу гораздо раньше, чем собиралась, она потеряет изрядную долю пенсии, которую компания назначает всем своим работникам по выслуге лет. В любом случае ни о каких поездках и отпусках не может быть и речи, пока не решится вопрос с маминым недержанием, а это может произойти, только если она целыми днями будет за ней присматривать.

В голове мелькнуло подозрение, что последние недели мать досаждала ей нарочно, но даже думать о ней вот так было не очень-то красиво.

Когда она вернулась с газетой к мистеру Хью, стало ясно, что он опять мается мигренью. Он опустил верхние жалюзи, так что солнечный свет уже не падал на письменный стол и не играл на большом серебряном письменном приборе, которым никогда не пользовались. Мисс Пирсон положила газету поближе к нему.

– Боже правый! – сказал он. – Макмиллан и Бракен выбыли. Предсказана сенсационная победа на выборах. Бедный старина Черчилль!

– Какая жалость, ведь правда? После всего, что он для нас сделал. – С этими словами мисс Пирсон собралась уходить, но, прежде чем удалиться в комнатушку за кабинетом, где стояла печатная машинка и хранились папки, она сочла необходимым заверить, что она, конечно, останется до сентября или дольше, если с поиском подходящей замены возникнут сложности.

– Это чрезвычайно любезно с вашей стороны, мисс Пирсон. И без слов ясно, как я сожалею о том, что вы уходите.

Хоть он и улыбался ей, было видно, как ему больно.

В дамской уборной, куда она зашла ненадолго, чтобы беззвучно всплакнуть, ее молнией пронзила мысль: насколько иначе все было бы, если бы ей пришлось уйти с работы, чтобы ухаживать не за матерью, а за кем-нибудь вроде мистера Хью. Мысль нелепейшая; непонятно, как такое вообще могло прийти ей в голову.

Когда она вышла, особо деликатно прикрыв за собой дверь, как делала всегда, когда его мучали головные боли (она находила десятки способов дать понять, что знает о них, чем безмерно раздражала его раньше, но годы службы воспитали в нем равнодушие к этой ее манере), Хью бросил газету, обмяк в кресле, закрыл глаза и стал ждать, когда подействует обезболивающее. Правительство лейбористов – а дело, похоже, именно к этому идет – тревожная перспектива. Выяснилось, что в критический момент идеи и *впрямь* важнее людей, а это, при всем превосходстве с нравственной точки зрения, оказалось вульгарной неожиданностью. Черчилль

считался – по праву – фигурой национального масштаба, его знали все: его эмоциональность, его красноречие, его бронхит, его сигары – в то время как об Эттли было известно очень мало, а большинству людей – вообще ничего. Хью думал о том, что решающим фактором должны стать голоса военных. Эти размышления прервал приход Картрайта с отчетом о состоянии грузовиков компании, внушающем серьезное беспокойство. Ремонтировать большинство машин было уже нерентабельно, при этом в обозримом будущем покупки новых автомобилей не предвиделось.

– Придется вам сделать все возможное, Картрайт.

И Картрайт, с его улыбкой скелета, представляющей собой устрашающий ряд желтоватых зубов при минимуме веселья, завершил доклад очередной жалобой насчет перекраски машин. Грузовики компании «Казалет» были синими с золотой надписью – единственными в своем роде, поскольку синяя краска быстро выцветала и требовала постоянного обновления. Картрайта раздражала необходимость тратить на это выделенные средства, особенно при нынешнем дряхлом автопарке, но Бриг еще давным-давно объявил, что грузовики должны быть синими, чтобы отличаться от другого грузового транспорта на дороге. Ни Хью, ни Эдвард не считали себя вправе изменить эту традицию, тем более что теперь их отец не мог своими глазами увидеть, чтят они ее или нет.

– По этому поводу пока ничего не предпринимайте, Картрайт. Отложите покраску, пока я не побываю у Рутсов и не выясню, нет ли у них чего-нибудь для нас.

– Если уж выбирать, сэр, то у «Седдона» машины лучше, чем у «Коммера», в смысле расходов на бензин.

– Да... верно. Дельная мысль.

Картрайт ответил на это, что он, пожалуй, пойдет, но по всем признакам уходить не собирался. Оказалось, что в ближайшем будущем должен демобилизоваться его племянник – сын брата его жены, как он объяснил. Его родные живут в Госпорте, и Картрайт только хотел спросить, не найдется ли какой-нибудь работенки на новой пристани в Саутгемптоне. Хью обещал спросить у брата, Картрайт поблагодарил – «премного вам обязан, сэр». И только потом ушел.

Укол досады и тревоги, которые Хью всегда испытывал при упоминании Саутгемптона, на этот раз оказался куда более ощутимым, поскольку совпал с новостями об уходе мисс Пирсон. Он был совсем не расположен после стольких лет привыкать к новому секретарю и вводить его в курс дела. «Ты *никаких* перемен не любишь, дорогой», – сказала Сибил однажды, когда он повысил на нее голос, заметив, что она по-новому разделила волосы на пробор. Господи, да если бы она сейчас была жива, пусть бы делала с волосами *что угодно* – он бы слова ей не сказал! Ее нет уже три года – три года и четыре месяца – и, как ему казалось, за все это время с ним случилось лишь одно: он приобрел ужасную *привычку* тосковать по ней. От других он слышал, что это и значит «пережить» утрату.

В этот момент ему пришлось прибегнуть к обычному средству – уверять себя, что ей хотя бы уже не больно: такой жизни для нее он не мог желать, не мог *вынести*. Даже к лучшему, что она умерла и оставила его, вместо того чтобы и дальше так мучиться.

Он дочитал и подписал письма, которые мисс Пирсон занесла ему перед объявлением о своем уходе. Пока он обедает, она соберет письма и разложит их по конвертам. Он позвонил ей, попросил вызвать ему такси и сообщил, что может припоздниться.

Предстоял обед с Рейчел – хорошо еще, что не какой-нибудь деловой обед со спиртным: такие были особенно утомительны после головных болей. Он поймал себя на мысли, что вот такие маленькие житейские поблажки стали служить ему постоянным утешением.

Встретиться они договорились в итальянском ресторанчике на Грик-стрит, выбранном за тишину и за то, что в нем, скорее всего, найдется еда, на которую согласится Рейчел. Как и Дюши, которая никогда не ела вне собственного дома, Рейчел питала глубокое недоверие к «покупной еде», которая, на ее взгляд, была либо чрезмерно сытной, либо слишком изыс-

канной, либо представляла еще какую-то угрозу. Но в этот раз пообедать вместе предложила именно Рейчел – она все равно оставалась ночевать в Лондоне, так как собиралась на концерт вместе с Сид.

– Нам с тобой непременно надо поговорить о Хоум-Плейс, Честер-Террас и так далее, – сказала она. – Мне уже все уши прожужжали планами и намерениями, вот только у всех они разные. А в выходные нам все равно не дадут толком поговорить.

В ресторане его поприветствовала пожилая хозяйка Эдда и сообщила, что дамы ждут наверху. Направляясь к столику Рейчел, он увидел, что с ней Сид.

– Дорогой, надеюсь, ты не против. Мы с Сид вроде как договорились провести день вместе, и когда мы с ней строили планы, я совсем забыла про наш обед.

– Разумеется, нет. Очень рад вас видеть, – сердечно отозвался он. Втайне он считал Сид странноватой особой: она, кажется, не вылезала из своего мешковатого твидового костюма с рубашкой и галстуком, у нее была не по моде короткая стрижка и смуглое, как орех, лицо. Сид походила на студента-перестарка, но была самой близкой, самой давней и чуть ли не единственной подругой Рейчел, следовательно, достойной его доброжелательности.

– Я всегда причислял вас к членам нашей семьи, – добавил он и был вознагражден слабым румянцем, который проступил на озабоченном лице его сестры и сразу пропал.

– Я же тебе говорила, – обратилась она к Сид. – Мне пришлось уговаривать ее прийти. – Эти слова были адресованы ему.

– Я же знала, что вам надо обсудить семейные дела, вот и не хотела мешать. Обещаю сидеть тихо, как мышка. Ни слова не скажу.

Но как вскоре выяснилось, это было лукавство. К разговору о делах перешли не сразу: предстояло еще выбрать еду. Рейчел, придирчиво изучив меню, наконец спросила, нельзя ли приготовить ей самый простой омлет, только маленький? До этого Хью с Сид остановили свой выбор на минестроне и тушеной печенке и уже потягивали martini, от которого Рейчел отказалась.

В ожидании заказа они курили; Хью купил для Рейчел пачку «Проплывающих облаков», зная, что они нравятся ей больше всех – после египетских, которых сейчас не достать.

– О, милый, спасибо! Но Сид чудом исхитрилась добыть где-то мою прежнюю марку – не знаю, как ей это удалось.

– Есть одно место, где она иногда бывает, – отозвалась Сид тоном человека, компенсирующего мизерность своих побед их частотой.

– Все равно возьми себе – про запас, – предложил Хью.

– Совсем меня избаловали. – Рейчел убрала сигареты в сумочку.

Принесли минестроне, Хью предложил начать с родительских проблем. Бриг рвался перебраться обратно на Честер-Террас, чтобы быть поближе к конторе, «хотя и там толку от старика будет немного», но Дюши, которая всегда терпеть не могла этот дом и называла его мрачным, запущенным и в любом случае слишком просторным для них, хотела остаться в Хоум-Плейс.

– Она и впрямь несколько не любит Лондон, бедняжка, ей нужны ее розы и альпинарий. А еще она считает, что для внуков хуже, если им некуда приехать на каникулы. Но *он* там как неприкаянный – особенно теперь, когда ему уже ни прокатиться верхом, ни пострелять, ни заняться строительством... И вот они твердят о своих желаниях *мне* – нет бы поговорить об этом друг с другом! Так что, как видишь...

– А разве не могут они устроиться так же, как до войны? Оставили бы себе оба дома, и тогда Дюши смогла бы жить за городом, сколько пожелает.

– Нет, думаю, так не получится. Бегать по лестницам в Лондоне Айлин уже не под силу, а Бриг пообещал коттедж над гаражом миссис Криппс и Тонбриджу, когда они поженились, – нечестно было бы теперь срывать их с места. Для Честер-Террас понадобится самое меньшее

трое слуг, а мне говорили, что сейчас подыскать надежных людей почти невозможно. В агентствах уверяют, что девушки больше просто не идут в служанки. – Она умолкла, потом добавила: – Ох, надеюсь, я не испортила вам удовольствие от супа – с виду он такой аппетитный.

– Хочешь попробовать? – Сид протянула ей полную ложку.

– О нет, спасибо, дорогая. Если я съем суп, ни на что другое места уже не останется.

– А как бы хотелось поступить тебе?

– Вопрос по существу, – сразу сказала Сид.

Рейчел озадачилась.

– Об этом я не думала. Наверное, как угодно, лишь бы они были счастливы.

– Хью спрашивал не об этом. А о том, чего хотелось бы тебе.

– Разве тебе не нравится в Лондоне?

– Ну, в некоторых отношениях здесь неплохо.

Пока убрали суповые тарелки, а потом несли и подавали основное блюдо, Рейчел объясняла: живи она в Лондоне, ей было бы проще проводить в конторе не два дня в неделю, а три. За два теперешних справиться с работой она просто не в состоянии. К этому времени она уже наслушалась рассказов о чужих бедах... и поделилась очередной историей злоключений – жене Уилсона пришлось лечь в больницу, а у них нет бабушек-дедушек, приглядеть за детьми некому, вдобавок их разбомбили, они живут в двух сырых подвальных комнатах; его сестра взяла бы детей, если бы не развод с мужем: тот как ушел с флота, сразу захотел жениться на девчонке, с которой познакомился на Мальте, и теперь эта сестра в таком состоянии, что впору за ней самой присматривать...

Омлет Рейчел остывал на тарелке.

– Господи, – вздохнула она, подцепив крошечный кусочек, – как я вам осточертела моими дурацкими конторскими заботами...

«Но это же не *ее* заботы, – мысленно возразил он, – а чужие». И на минуту задумался, как служащие конторы обходились без Рейчел раньше. Официально она занималась зарплатами, страховками и отпусками, а заодно и вела счета на канцелярию и другие мелкие расходы. Но по сути дела, она стала тем человеком, к которому все в конторе шли со своими бедами – как в работе, так и в личной жизни, – и теперь знала обо всех сотрудниках компании Казалетов гораздо больше, чем Хью или его братья.

Сид заметила:

– Но все это не имеет равным счетом никакого отношения к тому, как хотела бы поступить ты.

Хью уловил в ее голосе резковатую нотку, он звучал почти укоризненно.

– Ну разумеется, переехать в город было бы неплохо, но нельзя принимать решения такого рода по чисто эгоистическим соображениям.

– А почему бы и нет? – После краткой и напряженной паузы Сид повторила: – Почему бы и нет, интересно? Почему чувства всех и каждого важнее, чем твои?

«Она будто бы говорит о *своих собственных* чувствах», – думал он, у него почему-то возникло ощущение потери почвы под ногами, и оно было не из приятных. Бедняга Рейч! Ей просто хочется, чтобы все остались довольны; нехорошо третировать ее за это. Хью заметил, что она побледнела и вовсе прекратила делать вид, что ест свой омлет.

– Знаешь, – заговорил он, – по-моему, от Честер-Террас *надо* отказаться. Дом чересчур велик, а недвижимость разумнее продавать, пока от нее осталось хоть что-то приличное, чтобы не пришлось тратиться на ремонт. Так, может, оставить Хоум-Плейс и подыскать квартиру для тебя и Брига, раз уж ему хочется пожить в Лондоне? Тогда и Дюши сможет остаться за городом. А для квартиры вам хватит одной домашней и одной приходящей работницы, верно?

– Квартира. Не знаю, рассматривал ли кто-нибудь из них *квартиру* как вариант. Бриг наверняка решит, что это убожество, а Дюши – что это *беспутство*. Она считает, что квартиры годятся лишь для холостяков, пока те не женились.

– Абсурд, – возразила Сид. – Сотни людей будут перебираться в квартиры, и точно так же им придется учиться готовить.

– Но не в возрасте Дюши! От человека, которому семьдесят восемь лет от роду, нельзя требовать, чтобы он учился готовить! – И после неловкой паузы Рейчел добавила: – Нет уж. Если уж на то пошло, учиться готовить буду я.

Сид с покаянным видом дотронулась до руки Рейчел.

– *Touché!* Но мы-то говорим о твоей жизни, разве не так?

Ее попытка привлечь Хью на свою сторону вызвала у него смутную досаду. Несмотря на обещание молчать, Сид вмешивалась в то, к чему, по его мнению, не имела никакого отношения. Он подал знак официанту принести меню и обратился к Рейчел:

– Не волнуйся, дорогая. Я поговорю с Бригом насчет замены для Честер-Террас, и мы с тобой начнем подыскивать подходящее жилье. В крайнем случае ты всегда можешь временно поселиться у меня. А пока – кто желает мороженого, или фруктовый салат, или и то и другое?

Когда Рейчел, которая сразу заявила, что больше не сможет съесть ни крошки, все-таки удалось уговорить попробовать фруктовый салат, а Хью и Сид решили взять оба десерта понемногу, и вдобавок Хью заказал всем кофе, он поднял бокал и спросил:

– За что выпьем? За мир?

Рейчел ответила:

– Думаю, надо выпить за бедного мистера Черчилля, с которым мы так скверно обошлись. Неужели никто не заметил, насколько это чудовищно – что его выставили, едва закончилась война?

– Война еще не закончена. Полагаю, предстоят еще добрых года два сражений в Японии. Справедливости ради следует сказать, что те, другие, по крайней мере привыкли управлять – во всяком случае, на уровне кабинета.

Сид сказала:

– Я за тех, других. Для перемен самое время.

– Мне кажется, большинство людей хотят вернуться к нормальной жизни, и как можно скорее, – высказался Хью.

– Вряд ли мы к чему-нибудь *вернемся*, – заметила Рейчел. – Думаю, все будет по-другому.

– Ты про «государство всеобщего благоденствия» и дивный новый мир?

Он увидел, как ее лицо пошло мелкой рябью морщинок, и вдруг вспомнил, как они с Эдвардом дразнили ее «мартышкой».

– Нет, я про то, что война, как мне кажется, сделала людей иными, они стали добрее друг к другу. – Она повернулась к Сид. – *Ты* ведь так считаешь, да? Я в том смысле, что люди стали откровеннее – особенно часто делятся рассказами о всяких ужасах, как их разбомбили, разлучили, про все эти продукты по карточкам и погибших мужчин...

– По-моему, это уже не прежние спесь и равнодушие, – сказала Сид, – но если у нас не появится лейбористское правительство, дело очень скоро дойдет и до них.

– Как тебе известно, я абсолютно ничего не смыслю в политике, но ведь обе стороны, в сущности, говорят одно и то же – или нет? Про улучшение жилищных условий, большую продолжительность образования, равную плату за равный труд...

– Такое всегда говорят.

– Мы – *ничего* подобного. Мы не собираемся национализировать железные дороги, угольные шахты и так далее. – Он сердито уставился на Сид. – Начнется неразбериха. А с нашей точки зрения, это означает также, что вместо отрядного количества клиентов нам предстоит иметь дело лишь с одним.

Официант принес им кофе – очень кстати, подумал Хью: ему совсем не хотелось затевать с Сид спор о политике, он боялся высказаться слишком резко и расстроить Рейчел.

Теперь заговорила она сама:

– А как намерен поступить ты? Я имею в виду, с домом. Останешься жить в нем? Эдвард и Вилли продают свои и подыскивают что-нибудь поменьше – по-моему, разумно.

Стало быть, это чтобы Эдвард мог позволить себе второе жилье и поселить там ту женщину, подумал Хью. И сказал:

– Не знаю. Я к своему привязан. Сибил говорила, что никуда бы оттуда не уехала.

Последовала краткая пауза. Потом Сид сказала, что отлучится на минутку.

– Мисс Пирсон уходит от меня, – сообщил Хью, чтобы хоть чем-нибудь отвлечь себя и Рейчел.

– Ну вот. Этого я и боялась. Ее мать стала совсем немощной. Мисс Пирсон рассказывала мне, что на прошлой неделе нашла ее лежащей на полу. Она упала, пытаясь встать с кресла, и подняться не смогла.

– Мне будет недоставать ее.

– Конечно, будет. Так ужасно для нее, ведь ей даже полную пенсию не удалось заработать. Я как раз собиралась поговорить с тобой об этом. Боюсь, ей придется тяжело.

– Она наверняка кое-что скопила, ведь она служила у нас не меньше двадцати лет.

– Вообще-то двадцать три. Но ее матери полагалась лишь крошечная вдовья пенсия, которую перестанут выплачивать после ее смерти. Кроме дома, Мьюриэл не достанется ничего, и, полагаю, к тому времени, как ее мать умрет, она сама будет уже слишком стара, чтобы снова найти работу. Тебе не кажется, что в сложившихся обстоятельствах нам следовало бы позаботиться о том, чтобы она получала полную пенсию?

– Старик сказал бы, что это создаст опасный прецедент. Если пенсию получит *она*, все остальные решат, что и они вправе рассчитывать на то же самое.

– Чепуха! – Возглас прозвучал довольно резко для нее. – *Ему* об этом незачем знать, как и служащим.

Он присмотрелся: нехарактерное для нее свирепое выражение лица настолько не подходило ей, что он чуть не рассмеялся.

– Ты абсолютно права, само собой. Тебе удалось полностью растопить мое каменное сердце тори.

Тут-то она и улыбнулась, сморщив нос так, как всегда делала, когда хотела выразить улыбкой любовь.

– Голубчик, сердце у тебя нисколько не каменное.

Потом вернулась Сид; он попросил счет, а Рейчел сказала, что сходит пока поискать дамскую комнату.

Как только она ушла, Сид заговорила:

– Спасибо за обед, с вашей стороны было очень любезно вытерпеть мое присутствие.

Подписывая чек, он поднял голову: Сид вертела в руках пакетик сахара для кофе, и он невольно отметил, что у нее сильные, элегантные, но какие-то мужские руки.

– Видите ли, – продолжала она, – я понимаю: мне не следовало высказываться о чисто семейных, с вашей точки зрения, делах, но ведь она же *никогда* не дает себе ни единого шанса! И *вечно* беспокоится о других, а о самой себе даже не задумывается. Вот я и предложила, чтобы теперь, когда война закончилась – по крайней мере здесь, – она попыталась представить себе хоть какую-то собственную жизнь.

– Возможно, она ей не нужна.

По какой-то причине, хоть он ни в жизнь не догадался бы, почему, это довольно безобидное замечание, кажется, попало в цель. Долю секунды Сид выглядела явно ошеломленной, а потом произнесла так тихо, что он едва расслышал:

– Искренне надеюсь, что вы не правы.

Вернулась Рейчел. На улице они расстались: Хью направлялся обратно в контору, дамы вдвоем – по магазинам на Оксфорд-стрит: в «Голос его хозяина» – за пластинками, в «Бампас» за книгами – «так удобно, что они совсем рядом, практически в двух шагах». В прощальных словах чувствовался слабый оттенок взаимных извинений.

Гораздо позднее, в начале вечера, покончив с делами в конторе, он успел на автобус в семь двадцать до Ноттинг-Хилл-Гейт, пешком прошелся по Лэнсдаун-роуд до Лэдброук-Гроув, сам отпер дверь своего безмолвного дома и вспомнил слова Рейчел о том, что сердце у него отнюдь не каменное. Ему подумалось, что вопрос не столько в том, из какого материала сделано его сердце, сколько в другом – существует ли оно до сих пор. Его изнурили старания превратить острую боль в печаль, попытки жить, питаясь исключительно прошлым, даже следить, чтобы мучительные частицы ностальгии оставались достоверными (он заметил, что начинает сомневаться в мелких нюансах воспоминаний и ему сложнее вызывать их в памяти), и больше всего пугающее отсутствие того, чем можно было бы заменить это прошлое. Чувства больше не освещали настоящее; он переползал из одного дня в следующий, не надеясь, что тот будет отличаться от предыдущего. Разумеется, он сохранил способность раздражаться из-за мелких неприятностей вроде автомобиля, который вдруг отказался заводиться, или из-за того, что миссис Даунс не забрала в стирку его белье, или тревожиться – или попросту злиться? – из-за любовницы Эдварда Дианы Макинтош (знакомиться с ней он отказался наотрез). С тех самых пор, как Эдварда не удалось убедить, что с Дианой ему надо расстаться, Хью не желал даже заговаривать на подобные темы. В итоге обсуждать что-либо с Эдвардом легко и непринужденно, как в прежние времена, стало неимоверно трудно, и оба они пребывали в состоянии конфронтации по таким вопросам, как саутгемптонский проект, который Хью считал в высшей степени опрометчивым, дурацким способом пустить их средства на ветер, в чем он сумел бы убедить Эдварда, если бы не этот глубокий и личный раскол между ними. Как бы там ни было, Хью тосковал по прежнему дружескому и тесному общению с братом, и эту тоску усугубляло то, что в прежние времена затруднения как раз такого рода он смог бы разрешить, обстоятельно поговорив о них с Сибил, внимание и благоразумие которой он начал ценить еще выше теперь, когда лишился их навсегда. Он пытался беседовать с ней мысленно, но безуспешно, и тосковал по ней именно потому, что в их диалогах не мог стать ею. Он произносил свою реплику, и наступало молчание, в котором он сражался со своей неспособностью вообразить себе, как могла бы ответить она. Настолько близких отношений с Рупертом у него не было никогда, сказывались критические шесть лет разницы в возрасте. Когда Хью и Эдвард в 1914 году уехали во Францию, Руперт еще учился в школе. Когда они с Эдвардом вместе начали работать в компании, Руперт поступил в школу искусств Слейда, вознамерился стать художником и не иметь никакого отношения к семейному бизнесу. А когда и Руперту все же *пришлось* примкнуть к нему, это произошло после долгих колебаний и, как теперь казалось Хью, из-за желания Руперта побольше зарабатывать, чтобы угодить Зоуи. А потом, после своего чудесного возвращения – спустя долгое время, когда все уже оставили надежду (хоть и не говорили об этом вслух), – Руперт после первого прилива семейного ликования странным образом замкнулся в себе. У Хью выдался один славный вечерок в его обществе – он повез Руперта ужинать после того, как флот наконец отпустил его в отставку, а перед ужином они вдвоем выпили дома бутылку шампанского. Руперт расспрашивал о Сибил, и Хью рассказывал ему о последних днях, когда они с Сибил все говорили и говорили: как выяснили, что оба знали, что она умирает, и каждый старался оградить от этого знания другого, каким сладким стало облегчение, когда необходимость в этой скрытности уже отпала. Он помнил, как Руперт молча смотрел на него во все глаза, полные слез, и как, впервые после ее смерти, он утешился, ощутил, что заскорузлое, спекшееся горе начинает понемногу размываться от этого безмолвного и безоговорочного сочувствия. После этого разговора они отправились ужинать,

и у Хью на душе стало почти легко. Но больше ничего подобного не случилось: он чувствовал в длительном отсутствии Руперта и его скрытности некую тайну, и после единственной робкой попытки прекратил расспросы. Для себя Хью решил, что после такой долгой разлуки возвращаться к обычной семейной жизни наверняка нелегко, этим и ограничился.

Были еще дети, но любовь Хью к ним уже начинали пятнать тревожность и ощущение собственной несостоятельности. Без Сибил он, кажется, пал духом. Как, например, с Полли – он почти не сомневался, что она влюбилась, он заметил это ближе к прошлому Рождеству, но ему она так ничего и не сказала и отмахивалась от его, должно быть, бестактных попыток вызвать ее на откровенность. Похоже, ни к чему хорошему это не привело: много месяцев подряд она держалась апатично, хоть и вежливо, без свойственных ей живости и задора. Он беспокоился за нее, чувствовал, что от него отгородились, боялся надоедать ей (хуже некуда, потому что, если так и есть или скоро будет, она станет уделять ему время только из жалости). Узнав, что Луиза с Майклом отказались от дома в Сент-Джонс-Вуд, он вскользя, самым небрежным тоном обронил, что Полли и Клэри в любой момент могут вновь занять свои прежние комнаты наверху, но его дочь ответила только «ужасно мило с твоей стороны, папа» и переменила разговор так, что он понял: она не вернется. В итоге его пребывание в этом доме стало бессмысленным. Он пользовался лишь своей спальней, кухней и маленькой дальней гостиной; остальные комнаты были заперты и, наверное, совсем запылились, так как миссис Даунс просто не могла управиться со всем домом за два утра в неделю, когда приходила убирать. Дому нужны работники, семья, и главное – хозяйка... Мысль о переезде ужасала его: на такое он отваживался лишь вместе с Сибил. Всякий раз переезд вместе с ней превращался в захватывающее приключение. Их первым супружеским пристанищем стала квартирка на Кланрикард-Гарденс – другое жилье они не могли себе позволить. Ничего в нем не было хорошего, в этом неудачно перестроенном этаже громадного высокого особняка с лепниной, хозяину которого понадобился источник дохода. Только чудовищно высокие потолки, фризы в наслоениях краски, здоровенные окна с раздвижными панелями, из которых вечно сквозило, и газовый счетчик для отопления, который глотал шиллинги так же прожорливо, как щелястые половицы – шпильки Сибил или пуговицы с его одежды. Полли родилась там, но вскоре после этого они перебрались в дом на Бедфорд-Гарденс. Переезд был чудесный. Собственный домик с крошечными садиками спереди и позади, с глицинией, доросшей до чугунного балкончика их спальни. Хью помнил их первую ночь в этом доме, помнил, как они впервые съели на новом месте пирог со свининой «беллами» и выпили бутылку шампанского – его привез Эдвард, когда приехал забрать Полл к ним, пока в детской идет ремонт. Хью взял неделю отпуска, и они вдвоем с Сибил красили дом, ели, сидя на полу, спали на матрасе в гостиной, пока он перестилал пол в их новой спальне. Это была одна из счастливейших недель в его жизни. В том доме родился и Саймон, и лишь когда Сибил забеременела в третий раз, они переселились туда, где Хью жил сейчас.

За раздумьями он переобулся, умылся, смешал виски с содовой и уселся послушать шестичасовые новости. Картина складывалась еще более удручающая, чем он ожидал. У Черчилля, кандидатов против которого не выдвинули ни лейбористы, ни либералы, больше четверти голосов отнял кто-то из независимых – человек, о котором Хью впервые слышал. Протянув руку, он выключил приемник. В комнате воцарилась тишина. Несколько минут он сидел, пытаясь придумать, чем бы заняться, что бы поделать, как бы отвлечься. Можно побывать в клубе, где кто-нибудь наверняка составит ему компанию за ужином, а может, и за партией в бильярд, но сегодня только и разговоров будет, что о выборах, а в перспективе повального уныния заманчивого мало. Можно позвонить Полл – можно, но он знал, что не станет. Он ограничивал себя одним звонком в неделю, чтобы не быть дочери в тягость и не лезть в ее жизнь. Саймон путешествовал со своим другом Солтером – катался на велосипедах по Корнуоллу. Лишь теперь до Хью дошло: весь последний школьный год Саймон изнурял себя учебой, только

чтобы попасть в Оксфорд, потому что туда собирался Солтер. Ну а почему бы и нет? Он знал, что Сибил была бы этому только рада – отчасти, конечно, из-за отсрочки призыва, а теперь, пожалуй, ему вообще не придется воевать, даже когда его призовут. Во всяком случае, Сибил одобрила бы решение Саймона поступать в университет: образованию она придавала гораздо больше значения, чем его родные. Бриг считал его напрасной тратой времени, Эдвард ни в грош не ставил, – впрочем, он всегда терпеть не мог учебу и ликовал, когда из-за предыдущей войны ее срок для них укоротился. Стоило завести речь об университетах, Эдвард вспоминал еще довоенный оксфордский диспут, где на голосование вынесли какой-то дикий пацифистский вопрос, и это, как неоднократно утверждал Эдвард, доказывало, насколько деградировала молодежь, подразумевая, что в заведениях вроде Оксфорда юнцам только забивают головы упадническими идеями. Разумеется, начавшаяся война полностью опровергла его утверждение, но не лишила мужчин семьи Казалет убежденности, что с образованием надо закругляться как можно скорее, чтобы наконец-то началась настоящая жизнь. Саймон готовился изучать медицину, и это придавало солидность затее в целом: Дюши, Вилли и Рейчел всецело поддерживали ее, и лишь Бриг с Эдвардом молчаливо осуждали, но Хью знал: это потому, что всех Казалетов мужского пола они воспринимают как будущее семейной компании. Но Саймон в любом случае для такой работы не годился. Назавтра Хью собирался в Суссекс и заранее задумался, чем бы заняться вместе с Уиллсом, которому, как ему казалось, не на пользу шло общение преимущественно с женщинами. А сегодня из дома можно и не выходить. Он смешал себе еще выпивки и спустился в цокольный этаж, где после непродолжительных поисков обнаружил жестянку «Спама», черствый остаток буханки, из которой всю неделю делал себе утренние тосты, и пару помидоров, привезенных из Хоум-Плейс в прошлые выходные. Сгрузив все находки вместе с консервным ножом на поднос, Хью унес его обратно в гостиную. Ему не повредит тихий домашний вечерок, сказал он себе.

* * *

Опаздываем, думал Эдвард, надо было сразу сообразить, что так и будет. Всякий раз, стоило ему появиться в Саутгемптоне, всплывали непредвиденные вопросы, и сегодняшней день не был исключением. Он ездил побеседовать с парой ребят, метивших на должность помощника управляющего пристанью, и прихватил с собой Руперта, который там еще не бывал, но при этом, судя по всему, был единственным кандидатом на пост управляющего, а значит, самое время ввести его в курс дела. Эдвард думал, что просто потолкует с теми мальчуганами, потом они хорошенько подзаправятся, и он все покажет Рупу и в целом увлечет его этим проектом. Но все сложилось иначе. Первый парень оказался никчемным – слишком много самомнения и бессмысленных непристойных шуточек – вроде хотел понравиться, но лишь вызвал неприязнь, вдобавок про свой прежний опыт работы старался помалкивать. Второй явился с опозданием, был староват, сильно нервничал, потел, каждый раз откашливался, прежде чем заговорить, зато его послужной список оказался неплох: всю войну он управлял лесопилкой для мягких пород дерева и уволился оттуда лишь потому, что демобилизовался прежний мастер. У Эдварда сложилось впечатление, что свой возраст кандидат занижил, выпытывать правду он не стал, но когда собеседование закончилось, спросил мнения Руперта.

- Пожалуй, с ним все в порядке, но справится он с этой работой или нет, я не знаю.
- Ну, выбора у нас все равно нет.
- Это сейчас его нет. Но в любой момент появятся сотни – или десятки уж точно – мужчин, ищущих работу.
- Нам нужен хоть кто-нибудь *немедленно*. Если только ты не хочешь заткнуть эту брешь.

– Боже упаси, даже пытаться не стану! Я же в этом ничего не смыслю. – Вид у него был ошарашенный. После паузы он добавил: – Ведь тогда придется жить здесь, правильно? А Зоуи всем сердцем рвется в Лондон.

Совсем не то ему хотелось услышать. Он знал, что Хью об этой пристани и слышать не желает, так как был категорически против нее с самого начала и оставался недоволен до сих пор, а собственная личная жизнь Эдварда слишком запутана, чтобы вести ее в такой дали от Лондона. Но занять этот пост должен был кто-то из Казалетов.

– Ну ладно, – ответил он, – утро вечера мудренее. Я хочу показать тебе, что тут и как, но сначала давай пообедаем.

Обед в отеле «Полигон» затянулся надолго. Как назло, зал был переполнен, и даже в бар, куда они зашли выпить в ожидании, пока освободится столик, набились мужчины, вдумчиво изучающие результаты выборов в раннем выпуске местной вечерней газеты. Броские заголовки без труда читались издали: «Победа за лейбористами!», «Консерваторы разгромлены!»

– Пить особо не за что, – заметил Эдвард, когда принесли их розовый джин, но Руперт возразил, что, по его мнению, случившееся даже к лучшему. Они немного поспорили, Эдвард был шокирован.

– Отделаться от Черчилля? – повторял он. – По мне, так это полный бред и дурость. Как-никак, он ведь тащил нас на себе всю войну.

– Но война-то уже закончилась. По крайней мере, здесь.

– Те, другие, просто-напросто решили уничтожить империю и развалить экономику этим своим проклятым «государством всеобщего благоденствия». Только потому, что захотели, чтобы им все доставалось даром и ничего не пришлось отдавать взамен.

– Ну, они же довольно долго мирились с тем, что им приходится отдавать все, не получая взамен ничего.

– Право, старина, ты прямо превращаешься в какого-то красного!

– Ни в кого я не превращаюсь. Убежденным тори я никогда и не был, но это еще не значит, что я коммунист. Просто мне бы хотелось хоть немного справедливости.

– И что же ты понимаешь под «справедливостью»?

Последовала краткая пауза: его брат, похоже, сосредоточился на скручивании фольги из своей пачки «ВМС».

– Тела, – наконец произнес он. – Нет, не трупы. Я заметил это, когда служил помощником на миноносце. Мужчины обычно раздевались, когда драили палубы, или в машинном отделении, или я просто видел их, пока совершал обходы. И обратил внимание, что у большинства простых матросов тело другое по *форме*: плечи уже, грудь бочонком, а ноги – колесом, тщедушный вид, жуткие зубы – ты удивился бы, узнав, сколько у них вставных. Они выглядели так, словно им не представилось ни единого шанса вырасти такими, как было задумано природой. Конечно, исключения тоже попадались – чаще всего дюжие грузчики, или докеры, или минеры, – но тех, кто жил в больших городах и работал в помещении, была чертова прорва. Я, видимо, замечал таких чаще прочих. Как бы там ни было, по сравнению с офицерами они смотрелись иначе. А мне казалось, что все мы должны выглядеть одинаково, за исключением формы. – Он взглянул на брата с краткой улыбкой, похожей на молчаливое и невеселое извинение. – Было и кое-что другое...

«Может, он расскажет мне про Францию, – думал Эдвард. – Он никогда об этом не заговаривал – ни разу».

– Другое?..

– Эм-м... ну, к примеру, если терять особо нечего, гораздо хуже, когда эту малость все-таки теряешь. Один из наших канониров во время бомбежки лишился дома. Если бы дома лишились *мы*, у нас ведь есть другой, верно? Или мы купили бы новый. А он потерял и дом, и мебель, и все, что было в доме.

– Такое могло случиться с кем угодно... и *случалось*...

– Безусловно – вот только последствия оказываются разными.

Он *не* собирался заводить тот самый разговор, просто выплескивал все, что наболело. Эдвард вздохнул с облегчением, когда официант явился сообщить, что их столик освобожден.

Но даже когда они уселись, обслуживали их так медленно, что на пристань они вернулись лишь в четвертом часу. Эдвард решил наскоро устроить Руперту экскурсию и укатить – он обещал Диане прибыть к ужину и провести с ней вечер пятницы перед отъездом в Хоум-Плейс. Но на пристани их встретил работник, который присматривал за зданием и руководил ремонтом пилорамы, и сообщил, что Эдварда ждет окружной инспектор со списком мер противопожарной безопасности, которые необходимо предпринять. На то, чтобы пройти по списку на месте, ушло почти три часа. Спустя некоторое время Руперт отстал от них, пообещав, что осмотрится самостоятельно.

Одновременно с ремонтом лесопилку предстояло существенно перестроить: теперь работы обойдутся гораздо дороже. Эдвард велел Тернеру, который был здесь за старшего, прислать ему копию списка, и пообещал выяснить у своего земельного инспектора, почему тот до сих пор не связался с окружным. Потом куда-то запропастился Руперт, и Эдвард, отослав кого-то на поиски, позвонил Диане, чтобы сообщить, что к ужину не успевает.

– Я все еще в Саутгемптоне. Надо еще отвезти Руперта обратно в Лондон, а уж потом к тебе – прости, милая, тут ничего не попишешь.

Она явно очень расстроилась, а когда он закончил разговор с ней и повернулся в кресле, чтобы выбросить сигарету, то увидел, что в открытых дверях кабинета стоит Руперт.

– Слушай, я понятия не имел, что задерживаю тебя. Я запросто доберусь поездом.

– Да ничего, старина. – Им овладело острое раздражение: Руперт наверняка слышал каждое его слово, а он выболтал все свои секреты разом...

– Я же не знал, что ты куда-то едешь, так что лучше подбрось меня до поезда.

Если от вокзала он помчится напрямик к Диане, то будет у нее через полтора часа...

– Ну, если тебе не важно... Только давай сначала пропустим по одной. Тут по дороге есть славное заведение.

Пока они пили, он рассказал Руперту про Диану – и о том, сколько уже они вместе, и о том, что в самом деле больше не испытывает к Вилли «ничего такого», и о том, что муж Дианы умер, оставив ее почти без гроша и с четырьмя детьми.

– Это же черт знает что такое, – сказал он. – Не представляю, как быть.

Оказалось, стоит только поделиться с кем-нибудь, и станет гораздо легче на душе.

– Хочешь жениться на ней?

– Да знаешь, в том-то все и дело. – И с этими словами он вдруг понял, что *на самом деле* хочет, да еще как. – Понимаешь, когда у кого-то от тебя ребенок...

– Ты этого не говорил...

– Разве? Собственно говоря, у нее двое почти наверняка от меня. Теперь понимаешь, каково это... чувствуешь себя в ответе... трудно просто взять и уйти, бросить ее, и тому подобное.

Руперт молчал. Эдвард уже начинал опасаться, что и он осудит его, как Хью. Думать об этом было невыносимо: ему отчаянно хотелось привлечь на свою сторону хоть кого-нибудь.

– Я же правда люблю ее, – сказал он. – А если бы не любил больше всех на свете, расстался бы с ней давным-давно. И вообще, как думаешь, каково бы ей было, если бы я просто ее бросил?

– Вряд ли Вилли было бы легче, если бы ты бросил *ее*. А она в курсе?

– Боже упаси, нет! Ни сном ни духом.

И так как Руперт молчал, он спросил:

– По-твоему, как я должен поступить?

– Тебе, наверное, кажется: что бы ты ни сделал, все будет неправильно.

– Точно! Вот именно.

– И видимо, она – то есть Диана – хочет за тебя замуж?

– Ну... вообще-то мы об этом не говорили, но я точно знаю, что хочет. – Он смущенно хохотнул. – Только и повторяет, что обожает меня, и тому подобное. Будешь еще? – Он заметил, что Руперт уже несколько минут пристально смотрит на дно своего стакана. Но Руперт покачал головой.

– Я так скажу: тебе просто придется выбрать что-нибудь одно.

– Ничего себе решение, да?

Руперту легко говорить, обязанность принимать решения на него в семье никогда не возлагали.

– Я тут подумал, – продолжил он, – надо бы дождаться, когда Вилли найдет дом, какой ей нравится, устроится там, ну, ты понимаешь, а уж потом и я... как-нибудь. Нам пора. Я только позвоню ей – ну, Диане – скажу, что приеду к ужину.

По пути к вокзалу он сказал:

– Я был бы рад тебя с ней познакомить.

– Ладно.

– Ты не против? Хью отказался наотрез.

– Так Хью про нее знает?

– Вроде как знает, но не желает понять ситуацию, просто прячет голову в песок, а мы с Дианой считаем, что гораздо лучше обо всем говорить честно и открыто.

– Но не с Вилли?

– Это совсем другое дело, старина, ты пойми. Не могу я *обсуждать* с ней такие вещи, пока сам еще не принял решение броситься в омут с головой.

Высаживая Руперта из машины, он сказал:

– Кстати, никто из остальных не знает.

Руперт ответил, что понял.

– Я правда тебе признателен за то, что отпускаешь меня вот так...

– Не то чтобы *отпускаю*...

– Я имею в виду, едешь поездом, так что мне не придется расстраивать Диану.

– А, это! Да я не против, мне спешить некуда.

Вечер был ясный и солнечный; Эдвард, которому солнце светило в спину, ехал на восток – поужинать и переночевать у любовницы. Эта перспектива, которая обычно вызывала у него чувства приятного волнения и беззаботности, особенно вечером накануне отдыха, теперь виделась ему с другой стороны: совершенно изолированные отсеки, в которых он ухитрился держать две свои жизни всю войну, перестали быть непроницаемыми, чувство вины неуклонно перетекало из одного в другой. Видимо, из-за разговора с Рупертом все стало выглядеть еще более безотлагательным, чем прежде. О том, что они с Дианой не обсуждали брак, он сказал ради простоты. Хоть этого слова как такового она и не употребляла, но умудрялась подвести к теме брака любой разговор. К примеру, жить в коттедже и дальше она была просто не в состоянии. Что ж, резонно: жалкая лачуга, да еще и в захолустье, где ей безнадежно одиноко. Но что же ей делать, спрашивала она – не единожды, – не сводя прекрасных глаз с его лица. И задавала много вроде бы пустячных вопросов-ловушек о том, собирается ли Вилли и дальше жить за городом или вернется в Лондон. О продаже дома на Лэнсдаун-роуд он Диане говорить не стал, опасаясь, как бы она не сделала скоропалительных выводов. Ужасно тягостно ей, бедняжке, от всей этой неопределенности. Но ведь и ему не легче. Ничего он не хотел сильнее, чем удобно устроить Вилли, чтобы уж больше не переживать за нее и с легким сердцем начать чудесную новую жизнь с Дианой. «Пожалуй, – подумал он, доставая свою табакерку (отличная

штука, когда клюешь носом за рулем), – пожалуй, именно это и нужно ей сказать», – и решил, что скажет.

И сказал – после ужина, когда они пили бренди, и она разомлела, воскликнула: «Ах, дорогой, как чудесно!» – и с таким пониманием отнеслась к страшно запутанной проблеме с Вилли.

– Ну *конечно же* я понимаю! Конечно, в первую очередь ты обязан думать о ней. Мы *оба* должны ставить ее превыше всего, дорогой.

* * *

Купив билет, Руперт узнал, что следующий поезд до Лондона только через двадцать минут, и стал слоняться туда-сюда по перрону, мимо газетных киосков – закрытых – до вокзального буфета. Заглянул и туда: может, у них найдутся сигареты, а то у него заканчиваются. Не нашлось. Внутри было безнадежно запущенно и грязно, пахло пивом и угольной пылью; бледно-зеленая глянцевая краска на стенах потрескалась и вспучилась, сэндвичи под толстыми стеклянными колпаками на длинном прилавке скукожились от древности. Как раз когда он гадал, отважится ли хоть кто-нибудь на такую покупку, какой-то матрос подошел и купил один с бутылкой «Басса». Руперт вышел из буфета и побрел в самый конец платформы. Стоял красивый вечер, весь в мягком золотистом сиянии и тенях мотыльковых оттенков; нет, «мотыльковых» – неудачное сравнение, вообще-то все они разноцветные. Он перестал присматриваться: он же не художник, а торговец лесом. Утверждение настолько же бессодержательное, как и вся его жизнь теперь; лучше подумать о чем-нибудь другом. И он задумался о брате, своем старшем, некогда шикарном брате, которого он считал кем-то вроде героя или как минимум человеком, способным на геройство, хотя это отношение, зародившееся, когда сам он был еще школьником во время Первой мировой войны, просто выкристаллизовалось в привычку. «Бедный старина Эдвард, – думал он теперь. – В скверную историю он вляпался. И теперь кого-нибудь да сделает несчастным, как бы ни поступил...» Вдруг Руперт обнаружил, что и об этом ему не думается. «Полагаю, в конце концов она привыкнет», – пришло ему в голову: может, он даже произнес эти слова вслух, подразумевая под «ней» Вилли. Откуда-то он знал, что Эдвард выберет тот путь, который сочтет более легким. Может, насчет легкости ошибется, но, следуя своему решению, будет считать его таковым. Однако если любое решение кого-то делает несчастным, разве не лучше для Эдварда выбрать более трудное? Более трудное означает безоговорочно верное, он знал это, но вместе с тем знал, что зачастую верность не приносит утешения. Все-таки Эдвард много лет подряд имел и то и другое; самое время расплатиться по счетам, принять решение, выбрать что-нибудь одно. Наверняка долгие годы его жизнь была паутиной лжи, была полна отговорок, утаивания правды.

Злиться он не умел. Все негодование или осуждение в адрес Эдварда, которое он раздувал в себе, улетучивалось, едва он успевал облечь его в слова: суть не только в том, чтобы принять решение, но и жить согласно этому решению, лицом к лицу сталкиваясь с последствиями...

Как оказалось, его поезд прибыл. Не зная, долго ли состав уже стоит на станции, он поспешил войти в вагон. Руперт нашел пустое купе и пристроился в углу, чтобы подремать. Но едва закрыл глаза, как голову заполонили знакомые и беззвучные образы, которые словно ждали, чтобы ожить в его сновидениях – заговорить, повториться, воспроизвести самое важное, что случилось в последние три месяца: как Мишель откинула голову обратно на подушку после его поцелуя, а потом (в его воображении) лежала неподвижно и прислушивалась к его удаляющимся шагам. Один раз он оглянулся на дом, посмотреть, не подошла ли она к окну, но нет – не подошла. Промежуток времени, проведенный на борту, который показался тогда таким мучительным, теперь звучал почти блаженной интермедией, в которой воскресал ее образ; представляя его, Руперт мог предаваться ни с чем не смешанному горю. Ему хотелось прове-

сти ночь в Лондоне одному перед возвращением домой, но денег, взятых взаймы у капитана, хватало лишь на билет на поезд. Попросить больше он не додумался, так что шел от вокзала Ватерлоо до Чаринг-Кросса пешком. Обшарпанный и потрепанный вид Лондона вызвал у него отвращение. Он купил билет, смотрел из окна на знакомые загородные места, курил последнюю сигарету из пачки, которую дали ему на борту, и пытался представить встречу с Зоуи.

Вообразить ее он был не в состоянии. Все, что приходило ему на ум по пути к Баттлу, оказалось совершенно нежизнеспособным, не подтвердилось ни в чем. Зоуи могла проявить недовольство, обезуметь от радости, даже вообще *отсутствовать*; он ничего не знал, и в наименьшей степени – что в первое мгновение почувствует сам. Когда он наконец в середине дня добрался до Хоум-Плейс, ее действительно не было дома. Он вошел в старую белую калитку, откуда дорожка вела к крыльцу, и увидел мать на коленях в ее альпинарии. Как раз когда его осенило, что своим внезапным приездом он может вызвать потрясение, слишком сильное для нее, она повернула голову и увидела его. Тогда он быстро подошел, опустился на колени и обнял ее обеими руками; от выражения на ее лице у него навернулись слезы. Она безмолвно прильнула к нему, а после слегка отстранила, взяв за плечи.

– Дай-ка я на тебя посмотрю, – сказала она, смеясь чуть резковатым, судорожным, задыхающимся смехом; слезы лились по ее лицу ручьем. – Ох, милый мой мальчик!

– Так! – немного погодя спохватилась она. – Будем благоразумны. Зоуи повела Джульет в магазин в Уошингтоне. Вам ведь наверняка захочется немного побыть всем вместе, чтобы никто не беспокоил. – Она вынула из-под ремешка своих наручных часов белый носовой платок, вытерла глаза, и он с мучительным умилением заметил клубничное пятнышко у нее на руке.

– С ней все хорошо?

Она встретила с ним глазами, и как раз когда он заново открывал для себя привычную и простую искренность ее взгляда, он, кажется, дрогнул.

– Да, – ответила она. – Ей было очень тяжело. Я к ней так привязалась. А твоя дочь – сокровище. Не хочешь выйти встретить их?

Так он и сделал – двинулся в обратный путь от дома, потом круто вверх по дороге и на вершине холма встретился с ними у калитки в ограде их полей. Джульет сидела на калитке, Зоуи стояла рядом, и он понял, что они спорят, еще до того, как услышал, о чем речь.

– ... *всегда* обратно ходим здесь. Даже *Эллен* знает, это моя самая-самая лучшая дорога...

Он ускорил шаг.

– Просто сегодня у меня нет настроения играть в тележки.

– У тебя *никогда* нет настроения!

Она была в алом берете, но сидела отвернувшись, он не видел ее лица.

– Вообще-то я... – начала Зоуи, а потом увидела его и застыла.

Они смотрели друг на друга во все глаза; она побелела. А когда заговорила, голос звучал испуганно, сипло и недоверчиво: «Руперт! Руперт? *Руперт!*» С третьим возгласом она протянула руку и коснулась его плеча.

– Да.

«Надо обнять ее», – подумал он, но не успел – она сделала шаг в сторону Джульет.

– Это твой отец, – сказала она.

Повернувшись, он увидел, что она таращится на него.

– У нее в детской есть твой снимок.

Он собирался снять ее с калитки, но, когда приблизился, она вцепилась в перекладину обеими руками.

– Ты меня поцелуешь?

Ее взгляд стал изучающим.

– Если бы у тебя была борода, я бы не стала. Из-за птиц. Как в стишках.

Она была премиленькая – Зоуи в миниатюре, с глазами Казалетов.

– Как видишь, бороды у меня нет.

Наклонившись, она вlepила ему звонкий поцелуй. Ее рот был бледно-красным и просвечивающим, как кожица красной смородины. Он поцеловал ее в ответ, она отвернулась и зажмурилась.

– Хочешь слезть?

Она помотала головой и покрепче ухватилась за верхнюю перекладину калитки. Он повернулся к Зоуи: на ней был старый макинтош для прогулок верхом и зеленый легкий шарф на шее. Лицо все еще оставалось очень бледным.

– Я не хотел тебя так напугать.

– Знаю, – сразу откликнулась она. – Знаю, что не хотел.

– Будем играть? Я правда хочу в тележки. *Честно*, хочу.

И они все сделали так, как хотела Джульет, и за игрой дошли до поваленного дерева в лесу у дома. Потом он думал, что оба были благодарны дочери за присутствие: оно отсрочило близость или, скорее, послужило оправданием ее нехватке – он и в Зоуи чувствовал неловкость и острое смущение. В первый раз он прикоснулся к ней, когда помогал спуститься с ветки дерева после того, как она объявила конец игре. Он взял ее за руку, и она вспыхнула.

– Даже не верится... уму непостижимо... – начала она низко и сбивчиво, но ее прервала Джульет, которая рискованно забралась выше на поваленное дерево и крикнула:

– Держите меня кто-нибудь, я прыгаю!

Он подхватил ее, она, извиваясь червячком, выскользнула из его рук на землю и объявила:

– А теперь все возьмемся за руки и пойдем домой.

И они направились через лес, разделенные дочерью, которая шагала между ними. Как раз за время этой прогулки он узнал, что Сибил умерла, а отец ослеп, что Невилл в Стоу, Клэри в Лондоне, работает у литературного агента и живет у Луизы – ах да, сама Луиза вышла за портретиста Майкла Хэдли... Пока они делились семейными новостями и слушали их, натянутости между ними как будто слегка поубавилось. Арчи прелесть, сказала она, – нашел для Невилла как раз такую школу, как надо, когда тот пытался сбежать, да еще приглядывает за Клэри и Полли, приезжает на выходные и помогает взбодриться им всем. На минуту он задумался, не влюбилась ли она в Арчи, потом отмахнулся от этой мысли, как от недостойной, а когда она вернулась к нему позднее тем же вечером, обнаружил, что пугает его не что-нибудь, а собственное равнодушие... Да, когда он в первый раз вошел в дом и на него обрушились все глубоко знакомые запахи – древесного дыма, мокрого макинтоша, желтофиолей, которые Дюши каждый год ставила во вместительную вазу в холле, теплой ванили от свежеевыпеченного кекса на большом столе, сейчас накрытом к чаю, – он ощутил прилив простого, приятного узнавания, смог на миг почувствовать себя дома и порадоваться этому. Он понял, что зверски голоден, едва держится, чтобы не упасть в обморок, ведь в прошлый раз он ел еще на борту, то есть, как ему казалось, невысказанно, почти невероятно давно, но стоило ему только заикнуться о том, с каким нетерпением он ждет чая, как ему тут же подали одно за другим несколько блюд. Два сваренных вкрутую яйца, «кролика по-валлийски»¹, сэндвич с курятиной, два ломтика кекса. Все это он и съел под радостными и снисходительными взглядами Дюши, Вилли, мисс Миллимент и Эллен и нарастающе завистливыми и негодующими – детей: Лидии, Уиллса – уже не малыша, а парнишки лет восьми, – Роланда и его родной дочери. Дети – вот что указало, как долго он отсутствовал. «А нам дают крутые яйца к чаю только на день рождения, – сказал кто-то из них. – Нам яиц вообще не дают. Только одно несчастное яичко. Раз в год», – и все в том же роде.

¹ Гренки под острым сырным соусом (*примеч. пер.*).

Именно дети засыпали его вопросами. Быть в плену – *как* это? Как он сбежал? А почему не сбежал раньше, как только кончилась война? Лидия желала знать, но Вилли сказала ей, что дядя устал и незачем с порога устраивать ему допросы. Он заметил, что ее волосы совсем поседели, но резко очерченные брови остались темными.

Отвлекая любопытных от себя, он спросил про Клэри и Невилла, но прежде чем ему успел ответить кто-нибудь из взрослых, Лидия сообщила:

– Голос у Невилла сломался, но, честно говоря, характер лучше не стал. Он просто ужасный, но немного по-другому. Играет на деньги, а сыграть во что-нибудь приличное с нами его не допросишься. Клэри гораздо лучше. Обязательно позвони ей, дядя Руперт, она жутко обрадуется. Она всегда считала, что ты вернешься, даже когда все остальные думали, что ты умер.

– Лидия! Не болтай чепухи!

– А я – нет. И ничего я не болтаю. – Она с вызовом уставилась на мать, но больше ничего не сказала.

Он невольно взглянул на Зоуи, сидящую рядом, но та не сводила глаз со своей пустой тарелки. И вот тогда-то на него обрушились чувства вины и нереальности – оба такие неистовые и равные по силе, что он оцепенел. Его решение задержаться во Франции на долгие месяцы, после того как он мог уехать на законных основаниях, – решение, которое в то время казалось романтично-нравственным, – теперь выглядело не чем иным, как распушенностью и блажью, крайним эгоизмом. И он даже не сумел вернуться с чистым и безраздельным сердцем...

Поезд сбавлял ход перед станцией Бейзингсток. Он надеялся, что к нему в купе никто не подсядет: немалую часть жизни он провел в надежде, что теперь его оставят в покое – не то чтобы любил одиночество, просто оно меньше выматывало. Он постоянно ощущал усталость, все думал, что хочет спать, но когда пытался, обычно лишь прокручивал в памяти мелкие, разрозненные и тревожные обрывки своей жизни. Единственным, с кем он чувствовал себя свободно, был Арчи, к которому он сейчас и направлялся. В первый же вечер в Хоум-Плейс он позвонил ему, и почему-то Арчи обрадовался («Ну и ну! Вот это да!») совершенно так, как надо, – и не вызвал у него ни чувства вины, ни ощущения ущербности или непорядочности. Это Арчи настоятельно посоветовал ему не звонить Клэри, а *увидеться* с ней; он же, узнав про рыбацкое судно, сразу же спросил, знают ли на флоте, что он вернулся, и когда услышал, что нет, не знают, сказал: «Ну, тогда лучше тебе приехать сразу, а я договорюсь, чтобы тебя приняли в Адмиралтействе. Имей в виду, там не обрадуются».

И точно, не обрадовались. Он выехал следующим утром, Арчи встретил его у входа в Уайтхолл и проводил к некоему офицеру командования по фамилии Брук-Колдуэлл, настроенному явно враждебно. Пришлось объяснять все по порядку. Почему он не связался ни с одной из британских служб, до сих пор находящихся во Франции? Зачем ждал так долго? Какого черта он затеял и кем себя возомнил? Кто прятал его все эти годы? Она состояла в *маки*? МИ-6 что-нибудь известно о ней? Почему она не пыталась переправить его? Нигде она не состояла, ответил он. Ну что ж, это можно проверить, что мы и сделаем. Хорошо еще, сурово заключил его собеседник, что капитан-лейтенант Лестрейндж смог подтвердить вашу личность. Он уже прочитал соответствующее боевое донесение, представленное капитаном Руперта, так что признал первую часть его рассказа убедительной. Но причины отсрочки своего возвращения он еще не объяснил, ведь так? Неумолимый взгляд из-под разросшихся черными кустами бровей. Они личные, эти причины, сэр, наконец признался Руперт. Капитан Брук-Колдуэлл фыркнул.

– Личные причины на нашей службе – дело десятое, о чем, я уверен, вы прекрасно осведомлены.

Да, это он знал.

– Жду вас здесь с рапортом через два дня. На выходе справьтесь у моего секретаря, в какое время мне удобно.

Он вышел, отчетливо чувствуя себя униженным. Арчи по своей инициативе снабдил его временной продуктовой карточкой, дал ему денег, договорился о встрече с Клэри у него в квартире.

– Она часто приходит ко мне ужинать, так что не удивится. Я поищу какой-нибудь еды, или, если хочешь, можешь сводить ее перекусить куда-нибудь.

– А как же ты?

– О, я вам глаза мозолить не буду – это проще простого. Гораздо лучше, если ты безраздельно достанешься ей. Она это заслужила, да еще как.

Довольно-таки омерзительный обед они съели в кафе у Лестер-сквер. Арчи поспешил обратно на службу, пообещав освободиться к пяти; остаток дня Руперт был предоставлен сам себе. Часа два он болтался без дела и ужасался, видя, в каком состоянии Лондон. Мешки с песком, заколоченные досками окна, замызганные здания, облупившаяся краска – во всем этом чувствовались запущенность и упадок. Люди на улицах выглядели серо и неряшливо, с усталым видом они терпеливо ждали автобусы в беспорядочных очередях на остановках. Кондукторами работали женщины, одетые в брючные костюмы из жесткой темно-синей саржи. Очереди пугали его: в автобусы он решил не садиться. Там и сям попадался плакат, который он уже видел на вокзале: «А вам в самом деле обязательно ехать?», и другой: «За беспечную болтовню люди платят жизнью», и третий, который просто призывал: «Копай ради Победы!», и он невольно думал, что все они уже слегка устарели.

Он шел пешком – через Трафальгарскую площадь, на север по Хеймаркет, затем по Пикадилли. Тамошнюю церковь разбомбили; сквозь разрушенные стены проросли вербейник и якобея. У него появилась смутная мысль, не купить ли что-нибудь в подарок Клэри, только он не мог придумать что. Пять лет назад он бы даже не сомневался, но теперь... брешь между пятнадцатью и двадцатью годами огромна; он не имел ни малейшего понятия, чего бы ей хотелось или могло понравиться – надо было спросить за обедом у Арчи. Он пытался купить ей в одном из магазинов на Джермин-стрит мужскую рубашку, но когда наконец выбрал одну – в широкую розовую и белую полоску – оказалось, что ему ее не продадут, потому что у него нет талонов на одежду.

– Я надолго уезжал, – объяснил он продавцу – глубокому старику, который взглянул на него поверх очков-половинок в золотой оправе, и тот отозвался:

– Да уж, сэр, боюсь, неприятная выходит история. Хотите, я отложу эту рубашку для вас, пока вы не раздобудете талоны?

– Лучше не надо. Не знаю, положены ли они мне.

Он брел по улице, пока ему не попались канцелярские товары. Надо купить ей авторучку. Она всегда их любила. А когда он выбрал одну, то подумал, что к ней не помешал бы пузырек чернил. Она всегда любила коричневые чернила – он помнил, как она говорила: «От них моя писанина выглядит симпатичной, старинной и прочно сидящей на бумаге». Задумавшись, пишет ли она до сих пор рассказы, он ощутил, как шевельнулся в нем смутный страх, и испугался, что может в каком-то смысле не оправдать ее ожиданий. До сих пор в воссоединении с родными Руперт едва ли добился блистательных успехов и с облегчением отправился сегодня утром в Лондон после натужной и нервной близости накануне вечером. Он так боялся, что с Зоуи у него ничего не получится, что не отважился прикоснуться к ней. С прежней Зоуи это сразу повлекло бы за собой пылкие объяснения, требования, мелкие обольстительные неопрятности – он помнил, как, будто сами собой, съезжали с ее плеч широкие белые атласные ленты бретелек, как выскальзывали из прически гребни... Но пойти по такому пути он не посмел.

После ужина их оставили вдвоем в гостиной. Пока Дюши играла по его просьбе, он переворачивал ноты. А теперь в нерешительности стоял у рояля и смотрел в противоположный угол комнаты на нее, свою жену. Сидя в большом кресле с искусно заплатанной и зашитой обивкой, она шила что-то белое, муслиновое и пышное – как оказалось, летнее платье для Джульет.

Она была в бледно-зеленой рубашке, по сравнению с которой зелень ее глаз казалась темнее, с серебряной цепочки на шее свисало бирюзовое сердечко. Должно быть, она почувствовала его взгляд, потому что подняла голову, и оба они заговорили одновременно. И оба остановились, не закончив и уступая друг другу.

– Я только думала спросить, не хочешь ли ты виски.

– Нет, спасибо.

Он уже выпил перед ужином в компании отца и обнаружил, что вкус к виски утратил.

– А ты что собирался сказать?

– А, да я хотел узнать, как тебе Пипетт.

Эта история всплыла за ужином, но в то время Зоуи, как и за весь вечер, почти ни слова не проронила.

– Я с ним так и не увиделась. Когда он приезжал, я как раз гостила у мамы. На острове Уайт. Она до сих пор живет у своей подруги Мод Уиттинг.

– И как она, твоя мама?

– В общем-то совсем неплохо.

Последовала короткая пауза. Потом он спросил:

– Наши всегда ложатся спать так рано, как сегодня?

– Обычно нет. По-моему, они пытались проявить деликатность.

По ее робкой улыбке он догадался, что она привыкла к лишениям, унынию, отсутствию хоть какого-нибудь просвета. У него вырвалось:

– Тебе пришлось гораздо труднее. – Он придвинул скамеечку поближе, чтобы сесть лицом к ней. – Даже после того, как ты получила восточку. Должно быть, ты решила, что я погиб. Но не знала наверняка. Было, наверное, так... тяжело. Мне очень жаль.

– Ничего нельзя было поделать. И ты не виноват. Ни в чем.

Он увидел, как дрожат ее руки, складывающие белый муслин.

Она сказала:

– Твои родные относились ко мне замечательно. Особенно твоя мама. И у меня была Джульет. – Она быстро взглянула на него и отвела глаза. – Каким шоком стало увидеть, как ты идешь ко мне по дороге. До сих пор не верю в тебя. То есть в то, что ты вернулся.

– И мне это кажется невероятным.

– А как же.

И снова они дошли до полной остановки. Изнеможение окатило его, как волна-убийца.

– Пойдем спать?

– Пожалуй, надо бы. – Она положила шитье на стол.

Он протянул руку, чтобы помочь ей встать, и заметил легкий румянец: она была бледнее, чем ему помнилось, рука оказалась ледяной.

– Время, – сказал он. – Нам обоим нужно время, чтобы снова привыкнуть друг к другу, тебе не кажется?

Но в спальне – на удивление неизменившейся, с выцветшими обоями в чудовищных несуществующих птицах – предстояло еще раздеться в бескомпромиссном присутствии маленькой двуспальной кровати. У нее не осталось какой-нибудь его пижамы? Осталось: почти все они перешли к Невиллу, но одну она сохранила. Одежда, в которой он приехал, – бумажные брюки, рыбацкий свитер отца Миш, заношенная рубашка, которую она выстирала, залатала и отутюжила к его отъезду, – теперь была сброшена за ненадобностью. Он раздевался, пока Зоуи ходила в ванную, – скомкал рубашку, поднес к лицу, чтобы воскресить в памяти жаркий, перечный, печеный запах, который расплывался по просторной кухне, когда Миш гладила... Вытерев рубашкой глаза, он положил ее на стул, куда всегда складывал свою одежду.

Зоуи вернулась, уже успев переодеться – в старенькое кимоно персикового оттенка, которое Бриг подарил ей много лет назад, сразу после их свадьбы. Чуть ли не украдкой положив

свою одежду на второй стул, она направилась к туалетному столику, чтобы распустить волосы. Обычно, как он помнил, с этого начинался длинный ежевечерний ритуал, когда она очищала лицо лосьоном, мазала его каким-то кремом, три минуты расчесывала волосы, втирала в руки другой особый лосьон, который заказывала в аптеке, снимала украшения, – и ему казалось, что все это тянется целую вечность. Он направился в ванную.

И она тоже осталась прежней. Та же темно-зеленая краска, та же ванна на когтистых лапах, с зеленоватыми пятнами от подтекающих кранов, с подоконником, заставленным стаканками в следах засохшей пасты, с мятыми тюбиками «Филлипс Дентал Магnezии». Новой была складная сушилка, увешанная влажными полотенцами. По привычке он открыл окно, с которого уже сняли затемнение. Легкий ветерок освежил его. Вдали от Зоуи, пусть даже всего на несколько минут, он смог наконец задуматься о *ней* и только теперь понял, что в ее присутствии замыкается в скорлупе вины, не в силах сосредоточиться ни на чем, кроме собственных реакций. Она стеснялась его, сомневалась в нем и была не уверена в себе. Всякий бы подумал, наблюдая за ними со стороны, что после такой долгой вынужденной разлуки встреча должна стать счастливой развязкой, где есть место лишь радости и облегчению. Ему вспомнилась бородатая шутка офицеров с миноносца об одном матросе, который написал домой: «Почаще бывай на свежем воздухе, потому что, когда я вернусь, тебе уже не видать ничего, кроме потолка спальни». Воссоединения семей считались поводом для безудержного секса и ликования. Он закрыл окно. «Я был влюблен в нее, – думал он. – Она красива, тут ничто не изменилось, она мать моей дочери, и она целых пять лет ждала, когда я вернусь. Как угодно, но я должен справиться». Но едва он принял это последнее решение, как вспомнил, что ему оно не в новинку: оно закладывалось в браке с давних пор, годами оставалось невысказанным, пока он не ушел.

Когда он вернулся в спальню, она лежала на своей стороне постели, отвернувшись от него: она казалась спящей, и он, благодарный за этот обман, поцеловал ее холодную щеку и потушил свет...

* * *

Привычки подолгу ходить пешком, особенно по мощеным тротуарам, он не имел. У него ныли ноги: от английской кожи он тоже отвык, слишком уж долго пришлось носить парусиновые туфли. Он решил вернуться по Джермин-стрит и через Сент-Джеймс к парку, найти там скамейку и посидеть.

Клэри. Когда Арчи сказал: «она это заслужила, да еще как», ему вдруг вспомнилось, как Клэри, упав на кровать ничком, плакала навзрыд, потому что он увозил Зоуи отдыхать во Францию. Он присел рядом и попытался утешить ее – ведь это всего на две недели. «*Две недели!* А по мне, ничего подобного. Ты просто *говоришь* так, чтобы было терпимо». Он повернул ее лицом к себе. Как часто он вспоминал ее лицо – в веснушках и слезах, обычно чумазое, потому что она вечно размазывала слезы по нему. Как часто он вспоминал ее глаза, потемневшие от дерзости и горя. «Откуда мне *знать*, что ты вообще вернешься?» – всхлипнула она в тот раз. Когда он вернулся, она дичилась, дулась, не реагировала на него, пока ему не удалось каким-то чудом сломать лед и рассмешить ее. И тогда она кинулась к нему в объятия и выпалила: «Прости, что я так на тебе висю». А через несколько дней упрекнула его: «Папа, надо было поправить меня, чтобы не говорила «висю». Ты же прекрасно знаешь, что надо говорить «висну». Какой ты иногда ненадежный, и помощи у тебя не допросишься». Она ревновала к Невиллу, ревновала к Зоуи. Интересно, ревнует ли теперь к Джульет. Его не покидало стремление оберегать ее: из трех девочек только у нее колени постоянно были содраны, волосы – вечно спутаны, только она неизменно проливали что-нибудь на новое платье или рвала старое, под ее обгрызенными ногтями всегда красовалась черная кайма, щербинки на месте выпавших

молочных зубов у нее всегда выглядели комично, как и громоздкие проволочные скобки на заново выросших зубах. Ей не досталось ни толики эффектной красоты Луизы или утонченной элегантности Полли. Он знал также, что у Эллен, которая во всех прочих отношениях служила ему надежной опорой, в любимцах ходит Невилл, а Клэри она всегда считала трудным ребенком, и хотя исправно выполняла все обязанности няни, родительской любви к ней не проявляла; Клэри целиком и полностью зависела в этом отношении от него. И он, валяясь в канаве с адской болью в ноге и безо всякой надежды на побег вместе с Пипеттом, нацарапал записку для Зоуи, а потом еще одну, маленькую, – для Клэри, как единственное, чем мог ее утешить. Но в то время она была еще ребенком; дети многое перерастают, ведь она же ни разу не упомянула при нем о своей матери после того, как Изобел умерла. Может, он и теперь покажется ей незнакомым чужаком... Он растерялся. Если уж речь зашла о перерастании – том самом, на которое, как он заметил, многие возлагают надежду, – интересно, как оно применимо к нему самому. Сколько времени ему понадобится, чтобы переболеть разлукой с Миш? Он думал, что труднее всего будет принять решение расстаться с ней, и, как теперь понял, он рассчитывал, что наградой за это решение будет то, что осуществить его на практике окажется легче, чем он ожидал. Так считать он продолжал даже на борту. И думал, что, очутившись дома, сумеет вписаться в колею своей прежней жизни, а добродетель правильно принятого решения послужит ему опорой. Но не тут-то было: выяснилось, что это особенно трудно в ситуациях, о которых он даже не подозревал, – вроде необходимости делить ложе со знакомым и вместе с тем чужим человеком. В часы, проведенные без нее, его влечение к Миш просто становилось более мучительным. Вмешалась и нравственность: ни действовать, ни даже испытывать чувства по отношению к одной из них он не мог, чтобы не нанести ущерб какого-либо рода другой – по крайней мере, так ему начинало казаться. А как только он уйдет с флота, от него будут ждать возвращения в семейный бизнес, за время отсутствия в котором ему стало ясно, что к этому делу у него не лежит душа. Но разве он мог рассчитывать, что Зоуи согласится на состояние полного безденежья, если он снова решит заняться преподаванием или попробует себя в торговле картинами? Он думал, что перерастет и желание быть художником, но теперь этот способ справиться с желаниями казался ему недостойным и неубедительным.

Возвращаясь на автобусе вместе с Арчи к нему домой, он сумел признаться, что нервничает из-за встречи с Клэри.

– Тебе не кажется, что нам стоило бы провести вечер *втроем*? Просто она, похоже, знает тебя гораздо лучше.

– По-моему, ей следует предоставить право выбора. – И Арчи после паузы спросил: – Каково это было – вернуться домой?

– Да ты знаешь... очень странно. Не совсем так, как я ожидал. – Он помолчал и добавил: – Удивительно вернуться к уже готовой пятилетней дочери.

– Вот уж точно.

Во время очередной паузы Руперт заметил, как старательно Арчи избегает упоминаний о Зоуи.

– Я не знал, что выбрать ей в подарок. И в конце концов купил ручку. Как думаешь, подойдет?

– Даже не сомневаюсь. Она любит все в таком роде.

– До сих пор пишет?

– Старается скрывать, но скорее всего, да. Во время войны она вела для тебя дневник. Чтобы ты прочитал, когда вернешься. Знаешь, она ведь всегда была убеждена, что так и будет.

Открывая своим ключом дверь большого, довольно угрюмого здания из красного кирпича, Арчи сказал:

– Пожалуй, лучше тебе дождаться, когда она заговорит про свой дневник сама.

Квартира Арчи была невелика, зато с балконом, выходящим в сторону квадратного сквера, где в тот момент буйно цвели боярышник, сирень и раkitник.

– В каком часу она придет?

– Прямо после работы. Между половиной седьмого и семью. Хочешь виски?

– Нет, спасибо.

– Тогда джин. Кажется, у меня где-то еще оставался. А, нет – это водка. Она вроде как вошла в моду из-за наших русских союзников. Можно пить водку со льдом, водку с тоником или просто водку. Но я бы не советовал: стоит ей чуть нагреться, как у нее появляется маслянистый привкус.

– Думаю, водка со льдом будет в самый раз. – На самом деле он так не думал, но ощущал усталость и надеялся, что спиртное поможет ему встряхнуться.

Арчи, похоже, почувствовал его нервозность, потому что с жаром заговорил о предстоящих выборах, распаде коалиции и политике партии.

– В палате их не видно и не слышно, – говорил он. – Честно говоря, я думаю, было бы лучше, если бы они дождались, когда мы добьем Японию.

– Не хочешь поговорить про Францию? – спросил он несколько минут спустя, когда убедился, что отклика на разговоры о политике ему не дожидаться.

– Не сейчас.

«И, наверное, вообще никогда», – мысленно добавил Руперт, а потом задумался, отважится ли он когда-нибудь признаться в этом хотя бы в разговоре с Арчи.

Арчи сказал:

– Когда в дверь позвонят, я сам подойду и открою. Для нее потрясение будет невероятным. Хорошо бы как-нибудь предупредить ее заранее.

– Послушать тебя, так я прямо катастрофа.

– Нет, я не об этом. Потрясения бывают самыми разными.

Когда в дверь позвонили – наконец-то, – оба вскочили, и Руперт вдруг понял, что и Арчи на взводе. Залпом допив водку, он быстро захромал к двери, но перед ней остановился.

– Эм-м... Еще одно. Она в самом деле... *переживала* за тебя. Ей... ну ладно. – Он пожал плечами и вышел. Сбивчивые шаги удалились по лестнице, ненадолго стало тихо. Руперт поднялся и направился к балкону, дальнему от двери. И услышал голоса, Арчи и ее, а потом – как Арчи говорит: «Тут для вас небольшой сюрприз», и ее ответ: «Ох, Арчи! Еще один? Нет, не стану я угадывать, что это, потому что в прошлый раз, когда вы *нашли* для меня то, что я назвала, это было задолго до... ну, понимаете, о чем я...»

В комнате она увидела его, застыла неподвижно и молча и вдруг, будто подброшенная пружиной, кинулась к нему в объятия.

– Я плачу только потому, что так рада, – объяснила она несколько минут спустя. – Вечно я из-за всего лью слезы.

– И раньше вечно лила.

– Правда? – Она стояла перед ним – ростом почти с него, поглаживая его по плечам мелкими нервными движениями. Смотреть ей в глаза было все равно что на солнце. – Ведь правда, ужасно было бы, – продолжала она, и он понял, что она упивается игрой воображения, – окажись ты ненастоящим? Если бы я просто тебя выдумала?

– Ужасно. Клэри, милая, я соскучился по тебе.

– Знаю. Я получила твою записку – про то, что ты думал обо мне каждый день. От этого многое изменилось. О, папа, вот ты и здесь! Может, присядем? У меня такое чувство, что я сейчас не выдержу.

Арчи оставил стакан для нее на столике у дивана и скрылся.

– Наверное, ушел в ванную. Он подолгу сидит там с кроссвордами, – сказала она.

Они сели на диван.

– Дай-ка я тебя рассмотрю как следует, – сказал он. – Как же ты выросла.

– *Вверх* – да, – согласилась она. – Но не в остальные стороны. Не то что другие. Луиза теперь красавица, так все говорят, а Полл такая хорошенькая и изящная. Обе они особенные, а я стала просто гусеницей покрупнее – или молью по сравнению с бабочками.

Он смотрел на нее. Ее лицо похудело, но все еще было округлым, а теперь и покрасневшимся от возбуждения и полосатым от слез, слипшиеся мокрые ресницы говорили о любви с откровенностью, поразившей его почти до боли.

– Это самый радостный день в моей жизни, – сказала она.

– У тебя глаза точь-в-точь как у твоей матери.

– Ты этого мне никогда не говорил. – Она попыталась улыбнуться, но губы дрожали.

– Вижу, ты все свои веснушки растеряла.

– Ну, папа! Знаешь ведь, что они только к лету высыпают вовсю.

Он ободряюще сжал ей руку.

– Жду не дождусь, когда снова увижу их.

За остаток первого вечера, проведенного вместе с ней и с Арчи, которого они насилу уговорили составить им компанию, Руперт заметил и то, как она выросла, и то, как остро она истосковалась по нему: последнее открылось ему косвенно, в ее рассказах и расспросах. Когда Пипетт добрался до Хоум-Плейс и описал свой путь на запад, она поняла: многое из того, что она видела о нем в воображении, было взаправду.

– Не просто приключения, – пояснила она, – а даже какие именно.

– После «Дня Д», – спустя некоторое время сказала она, – я думала, что ты вот-вот вернешься. Глупо это было, наверное, да?

Но она сразу же почувствовала, что вновь ступает на опасную почву: до этого она уже спрашивала, почему он не вернулся пораньше и что с ним случилось, а когда он ответил, что это слишком длинная история, сейчас не до нее, она сразу же прекратила допытываться; старая Клэри, точнее, наоборот, более юная, неумолимо продолжала бы допрос, но в тот первый вечер она, похоже, сразу поняла, что говорить об этом ему не хочется...

И этим, размышлял он сейчас, сидя в поезде по пути в Лондон, к Арчи, ее поведение разительно отличалось от действий Адмиралтейства и остальной семьи. Адмиралтейство, конечно, было в своем праве: до него с запозданием дошло, как скверно он поступил с их точки зрения, и что четыре года изоляции и пылкой близости вызвали в нем сбой ощущений действительности и ценностей. Значимость незаметно приобрели совсем другие вещи: стремление спасти свою шкуру переросло в непрестанную тревогу за Миш – если бы выяснилось, что она укрывает его, ее бы расстреляли. Они обустроили несколько тайников, он с настороженностью дикого зверя замечал любые признаки движения вблизи фермы, улавливал шум мотоцикла или любого другого мотора задолго до Миш. Потому что немцы нет-нет да и наведывались к ним и на другие фермы за едой. Они забирали кур, яйца, фрукты, если было – масло, а однажды, в тот раз, о котором Миш потом вспоминала, захлебываясь яростью, отняли одну из ее трех свиней. Иногда за все изъятые щепетильно расплачивались, иногда нет. Но помимо главной заботы – как остаться в живых – в то время в его жизни было еще две составляющих: каждая возникла из безысходности и за неимением альтернативы, и обе постепенно завладели им полностью. Рисованием он занялся потому, что у него не нашлось дел не то что получше, но и вообще никаких. У нее хранился блокнот с тонкой линованной бумагой, на которой она изредка писала письма родным – своей сестре в Руан, тетке в монастырь близ Байё. Линии просматривались даже с чистой стороны листов, но к этому он вскоре привык. Он начал с набросков интерьера кухни – большой, вмещающей всю жизнь, которая проходила под крышей дома, кроме сна. Там Мишель и готовила, и стирала, и гладила, и зашивала, и упаковывала яйца, кур, кроликов – двух последних живьем, – чтобы продать их на рынке, куда ездила каждые две недели. В сезон она раскладывала собранные фрукты: свежие – по круглым корзинам, консервирован-

ные – по банкам, связывала в пучки зелень и все прочее, что растила на продажу, готовила товар к перевозке на своем велосипеде с прицепленной к нему деревянной тележкой. Там, в кухне, он проводил почти все время, бездельничал, если только она не поручала ему сделать что-нибудь, но постоянно был начеку, готовясь к бегству. Первые рисунки стали просто приятным способом отвлечься, но вскоре он заметил, что относится к ним более серьезно, придирчиво и ответственно: сперва он понял, что отвык и разучился, спустя некоторое время – что прошли годы с тех пор, как он хоть что-нибудь рисовал, не испытывая смутного чувства вины за потакание своим прихотям (Зоуи всегда раздражалась, когда он тратил хотя бы толику свободного времени на то, что она называла его «художествами»). А теперь он мог рисовать, сколько хотел. И Мишель, едва поняла, что для него это не просто развлечение от скуки, чего только ни делала, чтобы раздобыть ему материалы – в основном бумагу, иногда карандаши, а однажды – уголь для рисования. Все это она покупала по случаю в базарные дни – выбирать там не из чего, говорила она, только то, что нужно ученикам местной школы, но однажды она вернулась с коробочкой акварели.

Второй составляющей, которая занимала его помыслы, была, конечно, Мишель. Впервые он лег с ней в постель через четыре месяца после появления на ферме. Из-за откровенной похоти и утешения, которое она дарила. У них выдался плохой день: утром оказалось, что коза пала по неизвестной причине, и это была катастрофа, так как козленка, которого она недавно принесла, теперь предстояло выкормить из рожка драгоценным коровьим молоком. Мишель испереживалась, не в силах понять, отчего сдохла коза. Она привела козленка в кухню, привязала его в углу, и пока они мастерили из лоскута замши подобие вымени, снаружи хлопнула дверца машины и послышались мужские голоса. Прятаться в замаскированный подпол ему было уже некогда – для этого понадобилось бы разбирать половицы, не хватало времени и бежать в амбар на сеновал. Она указала в сторону лестницы, он одолел ее как раз в тот момент, когда в дверь заколотили. Подняться на чердак по второй лестнице – хлипкой, приставной, – он не решился, чтобы не выдать себя шумом. Дверь в ее спальню была открыта, однако ножки большой кровати оказались высокими, покрывало – недостаточно длинным, чтобы прикрыть прячущегося. Не оставалось ничего, кроме как встать за открытой дверью и молиться Богу, чтобы при обыске дома никто не додумался заглянуть за нее. «Во всем происходящем есть некий оттенок мрачного фарса», – думал он, а потом услышал, как они уезжают, но даже тогда, как учила Мишель, медлил спуститься, пока она не позвала его.

Она стояла у открытой двери кухни, глядя, как оседает пыль на проселочной дороге, ведущей к шоссе. Потом отошла к раковине и сплюнула зубчик чеснока, который до тех пор жевала. Он знал, что она всегда сует в рот чеснок, когда приезжают немцы. «Не по нраву им», – объяснила она в первый раз. Они нагрянули втроем: офицер, его шофер и еще один, как ей показалось, эсэсовец – он единственный из всех мало-мальски говорил по-французски. Ее засыпали обычными вопросами: кто еще живет здесь, на ферме? Как же тогда она справляется одна? Что приносит ферма и так далее. Разговор вышел долгий, объяснила она, потому что с немцами она всегда прикидывалась дурочкой. Не понимала, чего от нее хотят, давала нелепые ответы. Затем она напустилась на него, заявила, что это его дело – слушать, кто идет, а у нее и без того забот полно. Он сдуру промямлил в свое оправдание, что у машины мотор не такой громкий, и тогда она сорвалась. На чем бы они ни прикатали, они могли убить нас, выпалила она; неужели ему не хватает ума понять даже это? Немцы в машинах особенно опасны – это офицеры, они командуют. А если он даже слушать не удосуживается, пусть сидит все время в погребе – все равно пользы от него ни на грош, только ей лишние тревоги. Остаток дня она не говорила с ним и не глядела на него, раздраженно гремела посудой, поставила на стол миску супа для него, но сама есть не стала, и ему казалось, что ее невнятные упреки, обращенные к козленку, предназначались для него. День был чернее некуда, потому что утром выяснилось, что миноносец отплыл без него. Вечером, когда она позвала его вниз, он увидел

на столе бутылку кальвадоса и два стакана. Она умылась и уложила волосы аккуратным узлом на макушке (когда приходили немцы, она распустила и растрепала их, чтобы выглядеть нарочито неряшливо). На ее вопрос, не хочет ли он выпить, он ответил – да, очень. Она налила ему и себе и придвинула ему пачку «Голуаз», вытащив одну сигарету для себя, и он, давая ей прикурить, сказал, что подумал и решил: оставаться здесь ему не следует. И куда же он пойдет? Попробует пробраться на какую-нибудь лодку в Конкарно. Ни на какую лодку он не подойдет. Уже известно, что кто-то удрал таким способом, теперь немцы проверяют все лодки перед выходом из гавани. Не попасть ему на лодку. Оба помолчали. Потом он сказал, что как бы там ни вышло с лодкой, а уйти ему придется. Почему? Потому что это просто нечестно по отношению к *ней*. Не будь его здесь, ей ничто не угрожало бы, не пришлось бы поминутно тревожиться. Любого просить о таком – это чересчур, а тем более... – он помнил, как запнулся в этом месте – совершенно чужого человека.

Она долго смотрела на него с выражением, которое он не сумел разгадать. Чужого, значит, наконец повторила она. Вы четыре месяца здесь прожили – хорош чужой! Да нет, он совсем не это имел в виду. Просто ему кажется, что он не вправе подвергать ее опасности.

Эти слова она пропустила мимо ушей; все потому, что он англичанин, вот ему и кажется, что она чужая. Англичане холодные, так всегда говорили, а сама она до сих пор с англичанами не сталкивалась. Они сидели за столом один напротив другого. Она плотнее закуталась в черную шерстяную шаль и скрестила руки. Так или иначе, сказала она, если он *и вправду* уйдет, то недалеко. Его французский не так хорош, чтобы сойти за местного, документов у него нет, вдобавок известно, что он был как-то связан с ней – или же это очень быстро выяснится, когда его сцапают. Этого он не понял, но когда начал расспрашивать, она объяснила: хоть об этом и не говорили в открытую, слухи все равно поползли. И потом, ее взяли на заметку после того, как убили Жан-Поля. Немцы дотошно ведут такой учет. Так-то, закончила она. Так-то! Она пожалала плечами и плеснула в стаканы еще кальвадоса. Он подумал, что ему бросили вызов, и растерялся, застеснялся своей беспомощности. До него вдруг дошло: хоть он и глубоко признателен ей, она ему не нравится. Отчуждение внушала горечь, тлеющее в ней раздражение. «Проклятая нога, – думал он. – Если бы не она, сейчас меня не было бы здесь, я мог бы уже быть дома». А потом случилось нечто странное, чему впоследствии он не мог дать объяснения. На секунду он *стал* ею, или, по крайней мере, его собственные чувства, реакции, потребности, тревоги рассеялись и сменились принадлежащими ей. Одинокая, она заботилась о своих родителях до самой их смерти, ее мужчину, а вместе с ним и будущий брак и детей грубо отняло у нее убийство, над которым не имело власти правосудие, и ей осталось лишь заниматься как мужской, так и женской работой в этой глуши. Все знали: враги насилуют одиноких женщин. Эта возможность – вероятность – сохранялась всякий раз, когда они являлись сюда. Сегодня она пережила этот страх. Она помогла бежать Пипетту, она приютила Руперта: ни то, ни другое не принесло ей ни малейшей выгоды. Сегодня она накричала на него, заявила, что прислушиваться к машинам, подъезжающим к ферме, – его дело, и была совершенно права. Он потерял бдительность, вдобавок заявил, что должен уйти, и назвал ее чужой – и то и другое звучало холодно и оскорбительно.

– Извините, что я назвал вас чужим человеком. Мне жаль, что мой французский настолько плох. Простите, что решил уйти, не задумываясь, какими будут последствия для вас...

Он взял ее за руку, а она закрыла ему рот.

– Хватит! Вы сказали достаточно.

Она улыбалась – он не помнил, чтобы когда-нибудь прежде видел на ее лице улыбку, в темных глазах читались и цинизм, и нежность. Они стали другими людьми.

Когда тем вечером после ужина – кролика, тушенного с яблоками и луком, – они заперли двери на засовы, покормили козленка и направились наверх, она схватила его за руку и втащила в свою комнату. Он обнял ее и поцеловал маленький красный рот.

– Много чеснока, – сказала она, а он возразил, что он же не проклятый бош, просто холодный англичанин. Она снова улыбнулась. – Я вас согрею, – пообещала она.

Месяцами он видел ее в пышной черной юбке, зачастую с передником поверх нее, в толстом рыбацком свитере, блузках из плотного ситца, в шали, а при виде ее обнаженного тела у него перехватило дыхание. Высокие груди сосками врозь, неожиданно тонкая талия, ниже – крутые изгибы бедер, руки и ноги мускулистые и округлые, запястья и щиколотки изящные и тонкие – откровение, изумительное и потрясающее.

Даже сейчас, сидя в пыльном вагоне, он ощутил, что его тело отозвалось на воспоминания о том, как он увидел ее впервые.

После той первой ночи они перестали говорить друг другу «вы», «мадам» и «месье», но прошло еще несколько месяцев, прежде чем оба осознали, что случилось с ними.

На этом ему пришлось остановиться – дальше начиналась боль, понимание, что с ней у него не может быть будущего, что когда-нибудь этому прекрасному уединению придет конец, и чем ближе они станут, тем бесповоротнее придется расстаться. В начале их разлуки, на борту и первые несколько дней после, он думал, что должен, обязан изгнать все мысли о ней; теперь же понимал, насколько трудно удерживаться от них больше нескольких часов подряд. Не легче становилось и от его отношений с Зоуи, которые, как думал он теперь, приобрели оттенок настороженной любезности двух людей, застрявших между этажами в лифте, стали чем-то вроде тревожного ожидания в чистилище, из которого, по-видимому, ни один из них не в состоянии выбраться.

Возможно, думал он, ему полегчает, если он выговорится: он определится, лучше поймет, как теперь быть. И человеком, которому он выговорится, станет Арчи.

2. Девушки Август 1945 года

– Я уже жалею, что мы вообще его позвали. Теперь он съест всю нашу еду и будет про-
ситься в кино. И красить, скорее всего, вообще не умеет.

– Поручим ему что полегче.

– Представляешь, он спросил, заплатим ли мы ему за работу. И это мой родной брат!

– Ой, Клэри, да он же просто пошутил. Сосиски готовы?

– Наверное. Не вечно же им торчать в кастрюле.

– Если ты возьмешь на себя картошку, я их проверю.

У нее уже ныли руки, а в картошке все еще было полным-полно комков.

– Полл, ты же говорила, что добавишь в пюре сливочное масло и молоко.

– Не выйдет. Масло мы доели, а маргарин нам понадобится, чтобы завтра сделать бутер-
броды для Невилла и для нас. И молока осталось всего полпинты. Придется нам отказаться от
«Грейп Натс» на завтрак.

– И жевать черные тосты с ярко-желтым маргарином.

– Не обязательно черные – главное, не спускать глаз с гриля.

– Сдается мне, – сказала Клэри, когда они уже разложили сосиски с комковатым пюре
и уселись за тесный кухонный столик, – готовка удается, только если *ничем* другим не занима-
ешься. Как миссис Криппс.

– Надеюсь, со временем и мы научимся как следует. И продуктов прибавится.

– Это когда еще будет. Тысячи немцев умирают с голоду.

– Ноэль говорит, что все те запасы провизии, которые могли бы достаться нам, отправ-
ляют им, потому и нормы по карточкам урезают, а не повышают. Говорит, в любую минуту
могут ввести карточки на хлеб.

– Ну вот... – Декларации Ноэля, работодателя Клэри, в которые она верила как в про-
писные истины, оказывались неизменно мрачными. – Хорошо еще, у нас есть свое жилье.

– Да. Как думаешь, здесь когда-нибудь перестанет так странно вонять или мы просто
принюхаемся и привыкнем?

– Мы избавимся от запаха. Здесь будет чудесно, когда мы закончим.

«Жилье» представляло собой шесть комнат, по две на каждом этаже небольшого дома
восемнадцатого века в переулке у Бейкер-стрит. Внизу разместилась бакалея, в подвале – неиз-
веданные территории, где бакалейщики, братья Грин, ощипывали и потрошили птицу. Перья
долетали до второго этажа вместе с их паленой вонью, которая вносила свою лепту в общий
душок этого места, отдающего сыростью и гнилью. Комнаты были в отвратительном состоянии,
когда достались им, – штукатурка крошилась, старая краска отслаивалась от оконных перепле-
тов. Неизвестно кто нацарапал безграмотные надписи там и сям на стенах и дверях. «Весь дом
гнеёт», – гласила одна, а другие уверяли: «Беснадежная дыра», «Сыро и грязно», и все в таком
же духе. По сути дела, чистая правда, но шесть комнат за сто пятьдесят фунтов в год казались
выгодным предложением и единственным жильем, которое они могли себе позволить. Родные
помогали. Отец Полли подарил им кокосовые циновки для трех лестничных площадок, Дюши
пожертвовала большой кусок старого коврового покрытия из дома на Честер-Террас, чтобы
разрезать его по размеру комнат. Клэри взяла себе второй этаж, Полли третий, а самый верх-
ний оставили для кухни и столовой. Уборная помещалась в таком коридорчике, пристроен-
ном к зданию сзади, в который, как оказалось, можно, хоть и с трудом, впихнуть крошечную
ванну. Так и сделали, а в кухне поставили раковину. С рук купили кухонную газовую плиту и
три подержанных газовых обогревателя для гостиных и столовой. Заплатили за то, чтобы им
заново оштукатурили и выровняли стены, на которых выбоин насчитывалось особенно много.

Оставалась только отделка. Полли, которая теперь работала в маленькой компании, занимающейся интерьерами, заявила, что стены обязательно надо оклеить обоями и что она может раздобыть их с небольшой скидкой. Клэри, которая вообще не доверяла собственному вкусу, оставляла такие решения на усмотрение Полли. Но перед оклейкой предстояли еще малярные работы, и уж с ними-то пришлось справляться своими силами. Стоял теплый августовский вечер, заканчивалась пятница, они сидели за столом, а в открытое окно с перекошенной подъемной рамой залетал бурый от уличной пыли воздух.

– Поесть больше ничего нет?

– Что-то вроде тушеных яблок. Я почистила их, нарезала и поставила на огонь в кастрюльке, только воды налила побольше, чтобы не пригорели, как в прошлый раз.

Полли убрала тарелки из-под сосисок и разложила яблоки в миски, из которых они ели хлопья на завтрак.

– Ну как, ничего?

– Вполне. Кисловато немножко. – Клэри промолчала о том, что в яблоках попадаются какие-то обрезки ногтей, но Полли сама объяснила, что вырезать сердцевину яблока так, чтобы от него хоть что-то уцелело, труднее, чем кажется. – У Луизы дома есть специальный нож, чтобы вырезать из яблок сердцевину, – сказала она. – Пожалуй, надо и нам такой завести.

– Кажется, мы готовим все хуже и хуже.

– А по-моему, нет. Дело просто в том, что мы *вынуждены* готовить постоянно. А кухарка у нас вряд ли когда-нибудь появится. Ноэль говорит, что общество уже никогда не станет прежним.

– Как до войны? Посмотришь на мою работу, так кажется, что все будет *в точности* как раньше. Меня то и дело посылают в огромные дома, где хозяева устраивают кухни в цокольном этаже, чтобы прислуге не приходилось далеко ходить.

– Но нанимать декораторов по карману только самым богатым и знаменитым. А тысячи людей вынуждены из-за бомбежек жить в сборных щитовых домах.

– Да уж, – миролюбиво согласилась Полли. – Может, Ноэль и прав насчет большей части общества. Может, все останется прежним в моем узком кругу – согласна, для меньшинства – и поменяется к лучшему для всех остальных.

– Он не говорит, что *улучшится* хоть что-нибудь. Он считает, что ничего подобного не будет вообще никогда!

Последовала пауза, за время которой Полли, которую раздражали и взгляды Ноэля, и увлеченность ими Клэри, пыталась придумать какой-нибудь способ отвлечь ее.

– Давай сегодня больше не будем красить, а выберем обои. Я принесла несколько каталогов «Коулз» – они бесспорно лучшие.

Сначала они вымыли посуду, но любая кухонная работа угнетала их. Здесь не было ни полок, ни шкафов; почти все приходилось держать на полу. Не было еще даже сушилки у раковины, а два посудных полотенца вечно оказывались мокрыми. Они приколотили к стене листок, на котором составляли список всего, что им требовалось. Уже сейчас он выходил беспросветно длинным. В кухне стояла жара, потому что ее окно, как и все окна в этом узком маленьком строении, смотрело на юг, вдобавок здесь же был установлен бойлер – купленный с рук «Поттертон».

– Пойдем к тебе в комнату, – предложила Клэри. – Она самая симпатичная.

И не только потому, что Полли уже покрасила и подготовила стены к оклейке, но и, как казалось Клэри, потому что у нее был талант делать уютной и обжитой любую комнату. Дело было не только в лоскутном стеганом одеяле на кровати, папоротнике в горшке на каминной полке, блестящей белой краске и плотной оберточной бумаге, приклеенной к полу липкой лентой, а в ощущении, что тут уже и так опрятно и чисто – настолько, что в комнату не смеют про-

никать даже запахи сырости и паленых перьев. Дверь из этой комнаты вела в другую, поменьше, тоже чистую и покрашенную, с аккуратно развешенной на перекладине одеждой Полли.

– Здесь у тебя будет спальня?

– Нет. Буду держать здесь одежду и то, что нужно для работы, и если удастся, поставлю умывальник. И тогда останется только обзавестись диваном, креслами и так далее. А что у тебя?

– Не знаю. Я тут подумала: я ведь не такая аккуратная, как ты, так что лучше мне сделать в маленькой комнате спальню, а письменный стол и все прочее оставить в большой.

«И никогда и никого не впускать к себе в спальню, – мысленно добавила она, – потому что там будет вечный кавардак».

– Важно решить это заранее, пока мы не выбрали обои.

– А по-моему, без разницы, что я выберу.

– Да не прибедайся ты, Клэри! Значение имеет то, чего хочется тебе.

Они сидели на кровати Полли бок о бок, прислонившись спинами к стене, с разложенным на коленях гигантским каталогом обоев.

– Мне нравятся красные, – немного погодя сказала Клэри. – Только без этих всадников, лир и прочего.

– Для таких обоев наши комнаты недостаточно просторны.

Вскоре лиры в каталоге сменились полосками всех цветов и размеров, и Клэри зацепилась взглядом за узкие двух оттенков красного.

– Вот эти хочу! Совсем как в опере, в Ковент-Гардене. Там все коридоры такими оклеены.

– Не знала, что ты любишь оперу.

– Да не то чтобы... в общем, сама не знаю, люблю или нет, а Ноэль водит меня туда ради расширения кругозора. Он говорит, опера уже не та, что прежде, но знать те, которые на слуху, все-таки надо. А я от них почти всегда плачу – столько в них обреченности.

– Красный – слишком горячий цвет для комнат с окнами на юг.

– Ты же сама велела мне выбирать. Красный – вот что мне нравится.

– И с полосками на этих стенах будет нелегко – слишком уж они неровные.

– Ну и зачем надо было давать мне возможность выбрать, если ты все время против?

– Я просто пыталась дать тебе совет.

– Или *командуй*, или не мешай мне выбирать самой. Не выношу, когда мной руководят.

В конце концов она выбрала красные полоски для своей маленькой комнаты и последовала совету Полли – остановилась на бледно-желтых обоях в мелкую золотистую звездочку для большой.

Но позднее, лежа в постели, она думала: вечно мной кто-нибудь да руководит. А потом снова задумалась и поняла, что имела в виду Форменов – в основном Ноэля, но и Фенеллу тоже, хотя и далеко не в той же степени. Отчасти это происходило потому, что они отличались от всех других людей, и им постоянно приходилось ей что-нибудь растолковывать. Фенелла многое объяснила ей насчет Ноэля. Он рос – да так и остался – единственным ребенком в семье (его родители умерли, но и при жизни им нисколько не интересовались). Он жил в маленьком доме в Барнете, с трехлетнего возраста от него ожидали умения самостоятельно заботиться о себе. В четыре года он научился читать – сначала «Таймс», а потом одолел все книги, какие только нашлись в доме, – сам готовил себе еду (как, скажите на милость, ему это удавалось?), его отправили в школу в Хайгейте, но там он ни с кем так и не подружился, потому что родители никого не разрешали приводить в гости. Так или иначе, он не очень-то расположен к мужчинам, сказала Фенелла, – только к женщинам: общество женщин он обожает. В театры, кино и на концерты он ходил один с восьмилетнего возраста («Интересно, – думала Клэри, – откуда он брал деньги», – но спрашивать ей не хотелось). Так он и рос без любви и заботы, его воспринимали как не особенно желанного третьего взрослого жителя дома. Его отец, несосто-

явшийся архитектор, в основном проживал небольшое наследство, остатки которого после его смерти достались Ноэлю. Его мать совершала периодические вылазки в различные общества и секты, к сторонникам Оксфордского движения, к Гурджиеву, к одному индийцу с женой-японкой, который читал лекции в бейсуотерском доме, но всякий раз быстро охладевала, а в промежутках валялась на диване, читала романы и жевала кексы. Потом однажды она ушла – просто исчезла, насколько было известно Ноэлю. Отец сообщил ему об этом однажды за завтраком и добавил, что развивать эту тему не желает. Ее уход, по-видимому, мало что изменил в уединенной и обособленной жизни ее мужа и сына. Кто-то убирал в доме дважды в неделю, этот же человек ходил за покупками. Ноэль питался школьными обедами, хлебом с маслом и бараньими ребрышками. Жуткое детство, сказала Фенелла. Нельзя относиться к Ноэлю так же, как ко всем прочим.

Ей пришлось согласиться. Его родители казались чудовищами: она представить себе не могла этот ужас – когда тебя бросает живая мать. Ее-то мать умерла, когда родился Невилл, а это совсем другое дело; и она тем более не могла представить отца, который отказывался бы разговаривать с ней. Теперь-то ей стало понятным презрение Ноэля к семейной жизни, его неприязнь к родителям, к детям, к институту брака в целом. А когда она спросила Фенеллу, почему он при таких убеждениях женился на ней, та просто объяснила, что он был отказником совести и своим поступком помешал призвать ее на службу. «Я почитал газеты, – сказал он однажды утром, – и думаю, мне будет лучше жениться на вас». Это предложение Клэри сочла самым невероятным и изысканным из всех, о каких она когда-либо слышала, и потому встретила рассказ о нем почтительным молчанием; а спустя некоторое время спросила, как они познакомились. Ноэль дал объявление о том, что в литературное агентство требуется секретарь, Фенелла откликнулась, пришла на собеседование и была принята на работу. Он снимал квартиру на верхнем этаже, на Бедфорд-сквер, где жил и работал, и вскоре Фенелла переселилась к нему. «Уму непостижимо, – думала Клэри, – как он вообще обходился без нее». Она не только печатала его тексты на машинке, готовила, стирала ему рубашки, убирала в доме (ему претила мысль, что ради уборки в дом будет являться посторонний человек), но и сопровождала его на масштабных прогулках по Лондону и окрестностям, каждый вечер еще долго после полуночи читала ему вслух, а потом готовила последнее, что он съедал за день, – йогурт, хлеб с маслом и стакан горячего молока – и приносила ему в постель, где он и завтракал следующим утром. «Он любит позавтракать спозаранку, – сказала Фенелла, – и почитать газеты, прежде чем встать с постели». Клэри сообразила: это означает, что спать Фенелле почти некогда, и Фенелла действительно призналась, что когда Ноэль водит своих подруг в театр или оперу, сама она ложится в постель пораньше и отсыпается до его возвращения. В отличие от Ноэля, невысокого, худого и жилистого, в очках с толстенькими стеклами и в тонкой золотой оправе, Фенелла была крупной, ширококостной и степенной, с огромными ореховыми глазами, ее лучшим украшением, в которых отражался ум. Ноэль, объясняла она Клэри, – самый интересный и удивительный мужчина, какого она когда-либо встречала. Если это верно для Фенеллы, женщины средних лет, – как минимум тридцати пяти, а то и старше, – значит, *безусловно*, верно и для нее, Клэри. Вся ее жизнь теперь разделилась на две части: на жизнь с Ноэлем и Фенеллой и жизнь с Полли и родными. Порой ей казалось, будто она – два разных человека: прежняя Клэри, которая играла в «домик» с лучшей подругой и кузиной, пережила чудо возвращения отца из Франции, а теперь, когда немного свыклась с ним, начинала беспокоиться о том, что он изменился и, кажется, несчастен; и новая Клэри, которую обстоятельно и серьезно учили практически всему. Каждый день, проведенный с Форменами, вскрывал новые глубины ее невежества. То были знания об искусстве, паранормальных явлениях, транспорте, истории, болезнях. Ноэль как будто знал, отчего умер каждый известный человек, которого при нем упоминали, знал о состоянии пешеходных дорожек, каналов, железных дорог Англии, о ценах на сладости в елизаветинские времена, о том, как делают лодки-кораклы, о предсмертных словах несметного

множества одних знаменитостей и причудах других – о Ницше с его кремовыми булочками, Саварена с его устрицами, одного миллионера с острова Мэн, который играл в кораблики с картой мира и настоящими судами, принадлежащими ему... Факты, исключительные, невероятные (хотя она никогда не оспаривала их), изливались из него почти непрерывным потоком. Казалось, он знает если и не все, то понемногу обо всем, и, конечно, Фенелла, живя с ним, тоже была на редкость эрудированной. Но вот что еще удивительнее: хоть она, Клэри, знала так мало, к ней относились как к равной, к взрослой, к одной из них – и даже веселились и дивились, когда она говорила, что понятия не имеет, что такое «Голубой Джон»², кто основал Больницу Святого Георгия или чей роман лег в основу «Травиаты». Все это приятно будоражило ее, она с удовольствием печатала письма под диктовку Ноэля, который употреблял диковинные, никогда ею прежде не слышанные слова вроде «аброгации» или «шлама». В половине первого ее отправляли на почту за марками или в банк с книгой учета платежей агентства, а когда она возвращалась, у Фенеллы уже был готов обед: ореховые котлетки, глубоко презируемые Ноэлем, поэтому обычно достававшиеся им двоим, а Ноэлю – мясной паек Фенеллы, отбивная или котлетка более желательного свойства; к этому прилагались гигантские курганы картофельного пюре, капусты или моркови, затем – рисовый пудинг, который Ноэль особенно любил, и наконец – чашка довольно жидкого сероватого кофе. Все эти блюда съедались наверху в мансарде, которая когда-то наверняка служила спальней прислуге. Эта комната была самой симпатичной во всей квартире и, как и комната под ней, служила и рабочим кабинетом, и гостиной. За кабинетом, в еще одной маленькой комнате, Ноэль и Фенелла спали, но Клэри ни разу ее не видела. Уборная и тесная темная ванная помещались на площадке между этажами – ванна для Ноэля была редким и весьма зловещим явлением, планируемым заранее, за несколько дней, как событие, затмевающее собой все прочее в этот день. Любопытно было иметь знакомого, который практически не моется, но когда Клэри рассказала об этом Полли, реакция той оказалась до тошноты предсказуемой.

– А вот он – нет! – возразила Клэри. – В том-то все и дело. Просто он сам по себе такой же чистый, как любой другой человек.

– А как же тогда Фенелла? – спросила Полли.

– Насчет нее не знаю.

И вправду не знает, поняла она: не знает ничего. Когда Фенелла оставалась наедине с Клэри, что случалось нечасто, она говорила только о Ноэле. У нее как будто не было ни родных, ни прошлого. На вопрос Клэри, чем она занималась до знакомства с Ноэлем, она туманно ответила, что служила личным секретарем у почти отставного драматурга. «Но не с самого же рождения она у него служила, – думала Клэри, – наверняка у нее были родители, она ходила в школу, где-то жила...» Однажды она спросила об этом Ноэля.

– Родители Фен? От них было мало толку. Ее отец спился и умер, мать покончила с собой. Ну, знаешь, какие они, эти родители. На мой взгляд, не более чем биологическая необходимость.

Тут-то ей и вспомнилось: когда ее отец вернулся из Франции и она принесла им эту потрясающую новость, они проявили лишь вежливый интерес, а после обеда Фенелла сказала, что разговоры о Франции нагоняют на Ноэля тоску, так что этой темы лучше избегать.

– Видишь ли, это потому, что он хочет уехать в Америку, – разъяснила (едва ли) она. И Клэри, которой показалось, что она должна была понять, что это значит, но не сумела, после этого заткнулась.

Любимые мозоли Ноэля были столь многочисленны, сколь и болезненны, а это значило, что любой разговор чреват ловушками. Например, он любил рассуждать о том, насколько

² «Голубой Джон» – название одной из разновидностей минерала флюорита, фигурирующей в рассказе А. Конан Дойля «Ужас расщелины Голубого Джона» (примеч. пер.).

лучше все было раньше, они погружались в уютную ностальгию по девятнадцатому веку, он советовал Клэри почитать «Выдающихся викторианцев» Литтона Стрейчи, как вдруг вспомнил внезапно кого-то вроде кардинала Ньюмена, которому отводилась там глава, – тогда его лицо омрачалось, и он решительно замолкал. Все, связанное с религией, опасно, обнаружила она, так как Ноэль боялся, что он все-таки существует, этот Бог – некое мстительное божество, которое наверняка отправит его в ад. В тот раз, чтобы задобрить его, Фенелле пришлось сходить за кексами к чаю и пораньше отправить домой Клэри, чтобы предаться умиротворяющему чтению Бертрانا Рассела, или Менкена, или Эриха Фромма.

Ноэль очень помогал им с Полли, когда они искали жилье, – точнее, в конечном итоге не помог ничем, но внес несколько интересных предложений романтического свойства, например, посоветовал выбрать улицу с названием, которое ей по душе: Шелли, сказал он, выбрал Полэнд-стрит именно по этой причине; или же стоило бы рассмотреть в качестве варианта одну из башен Тауэрского моста – «только представьте, какой изумительный вид открывается из тамошних окон». Но оказалось, что башни битком набиты всякими механизмами для развода моста, и потом, это страшно далеко отовсюду, так что Полли решила, что это им не подойдет. Она выбрала Флорел-стрит в Ковент-Гардене за красивое название; там ничего не нашлось, но у ковент-гарденских агентов в списках обнаружился этот дом, так что, пожалуй, Ноэль все-таки помог им – косвенно.

Лучшим в Форменах было то, что к ее писанине они относились со всей серьезностью. Она показала Ноэлю недописанный рассказ о том, как двое познакомились в детстве, жили врозь, пока не выросли, а потом снова встретились и полюбили друг друга. Это Ноэль обратил ее внимание на то, что оригинально развить такую идею в коротком рассказе не получится, зато в формате романа ей хватит места для всевозможных интересных поворотов.

– Например, – пояснил он, – оба они могут оказаться в одном и том же месте одновременно и не подозревать об этом. И тут выяснится, что общий опыт – скажем, посещения великого спектакля – повлиял на них по-разному.

Вдобавок он жестко и подробно разобрал ее ошибки в употреблении предпрошедшего времени, в котором она путалась, и на примере реплик Клеопатры отбил у нее всякую охоту злоупотреблять восклицательными знаками. После этого ей захотелось назвать свой роман «Гостья-луна», но он велел сначала закончить его, а потом подумать о названии. Она корпела над романом по вечерам и в выходные, но почти не продвинулась, пока не вернулся папа – тогда в ней будто исчезла некая преграда, и за последние два месяца она написала чуть ли не половину книги. Вообще-то Ноэль относился к ее внезапной плодовитости скорее неодобрительно: сам он часами сражался с мудреными критическими статьями для высоколобых интеллектуальных журналов или, что еще удивительнее, с полудилетантскими публикациями для профильных изданий: к примеру, он безмерно обожал трамваи и посвятил их непревзойденным достоинствам пламенную статью. Работа над одним текстом занимала у него одну-две недели, и Клэри научилась не хвастаться десятком страниц, написанных за выходные, так как Фенелла сказала, что это его угнетает. Раз в неделю она проводила вечер с папой. Осенью они с Зоуи собирались переселиться обратно в Лондон, а пока он жил у Арчи, так что с самим Арчи она виделась лишь в выходные, если не уезжала домой, и даже такие встречи были каверзными: ее беспокоило, что Полли до сих пор влюблена в него. Полли заявила, что говорить об этом не желает больше никогда, и ее желание приходилось уважать, но видно же, думала Клэри, что Полли до сих пор сама не своя. И если Арчи ей по-прежнему небезразличен, гораздо лучше было бы выговориться, но ведь опять получится как всегда, думала она, – в этой семье никто не умеет заявить о том, что важно для него, и Полли, кажется, заразилась той же привычкой. Но не будь они такими, мне бы, наверное, и в голову не пришло сделать одного из главных героев похожим на моих родных, а другого – нет. О своем романе она думала, пока не уснула.

На следующее утро Невилл явился в одиннадцатом часу со словами, что пришел позавтракать.

– Еще чего! Ты безнадежно опоздал. И наверняка поел дома перед выходом, – добавила она.

– Только слегка перекусил. Всего-то и съел четыре тоста.

– И у нас были только тосты, притом меньше четырех.

– Миссис Криппс дала мне вот это для вас. – В коробке лежало шесть яиц. – Раз я притащил их в такую даль, значит, имею полное право съесть одно прямо сейчас, – заявил Невилл, пока обе они радостно ахали над яйцами.

– Дай ему одно, – сказала Полли. – В поездке у любого разыграется аппетит.

– Я вообще думать ни о чем не могу, – объяснил Невилл, – сразу есть хочется. Само собой, от каких-то мыслей хочется сильнее.

– Сразу после еды – ничего подобного.

– А мне через час – уже да, – просто ответил он. – И ничего тут нет странного. Знаешь, сколько нам *положено* съесть в неделю? Одно яйцо, две пинты молока, полфунта какого-нибудь мяса, четыре унции бекона, две унции чая, четыре унции сахара, четыре унции сосисок, две унции сливочного масла, две унции лярда, четыре унции маргарина, три унции сыра и немного потрохов. А в школе мы даже этого не получаем. Я добыл весы и неделю вел контрольный эксперимент. Вместо мяса было рагу по-ирландски, полторы унции в нем – не мясо, а кости, в сосисках – почти один хлеб и еще какая-то противная трава, яйцо на вкус лежалое. Всю неделю я обходился без сахара, чтобы взвесить его, и конечно, никаких четырех унций там не набралось...

– Часть твоего пайка добавляют в еду, когда ее готовят, – перебила Полли, – потому ты и недосчитался всего того, что полагается тебе по карточкам. И вообще, кому это надо – съесть твой паек?

– Учителям. Особенно мистеру Фотергиллу. Он жутко толстый, его сестра посылает ему домашние сладости, а еще от него несет выпивкой. Иногда.

– Вот твое яйцо.

– Здорово. Гораздо лучше яичного порошка.

Из его неосторожного замечания они сделали вывод, что он завтракал в поезде.

– В самом деле, Невилл! Ну и жулик ты! Позавтракал уже *дважды*.

– Тревожит меня эта твоя непорядочность, – добавила Клэри.

– Нет ее у меня. Просто я не все рассказал. Забыл, а сейчас вспомнил. Дело в том, что я страшно голодный. Если хотите, чтобы я работал, хотя бы не дайте мне помереть с голоду.

Однако красил он на удивление хорошо и сам покрыл первым слоем всю большую комнату Клэри, поэтому для него не пожалели двух огромных бутербродов с беконом на обед и двух булочек с сахарной глазурью, которые Полли принесла из булочной. На бутерброды ушел весь их недельный запас бекона, но Полли иногда перепалили остатки от мистера Саути, хозяина лавки внизу. Булочки предназначались к чаю, так что пришлось идти и покупать еще.

– За последний год он так вытянулся, что нельзя его винить, – сказала Полли.

Вечером они сводили Невилла на «Ночь в цирке», которую крутили в кино в Ноттинг-Хилл-Гейт, потом накормили макаронами с сыром и какао. Теперь в доме воняло краской – хоть какое-то разнообразие после мяса и жженных перьев. В воскресенье Невилл собирался к Арчи, так что продолжить красить мог только утром.

– Но к ужину я вернусь запросто.

Брат возвышался над ними, теперь уже на голову переросший Клэри; время от времени он чуть не сшибал что-нибудь и постоянно выпрашивал то одно, то другое: «Я забыл зубную пасту», «одолжишь мне вон тот шарф, чтобы не надевать галстук?» и так далее.

– Удивительно, что ты вообще чистишь зубы, – сказала Клэри, глядя, как он выдавливает аж два дюйма зубной пасты за раз, укладывая их в два ряда на свою потрепанную щетку.

– Раньше я просто ел пасту. Но потом увидел зубы мистера Фотергилла и теперь чищу свои как бешеный. А он не чистит их никогда. Они как желтый от старости миндаль на фруктовом кексе.

Его голос уже не переходил с писка на рокот и обратно. Когда он запрокинул голову, чтобы прополоскать рот, она увидела, что у него кадык – совсем как у папы. Он еще не успел переодеть пижаму. На пижамной куртке не осталось ни единой пуговицы, костлявые локти торчали из дырявых рукавов. Почти так же выглядела вся его одежда: обшлага серых фланелевых брюк болтались намного выше щиколоток, едва прикрытых редкими, как сетка, резинками штопаных-перештопаных носков, упрятанных, в свою очередь, в громадные сизоватые ботинки. Последние он старался носить как можно меньше: снял сразу, как пришел, и снова вбил в них ноги, только когда пора было идти в кино.

– Понимаете, шнурки давным-давно лопнули, так что их уже не развяжешь. Да ладно, что такого-то, – добавил он, уловив их осуждение.

Не вылезая из пижамы, он докрасил оба окна у Полли и ушел одеваться. А они заговорили о нем.

– Саймон был точно такой же, – сказала Полли.

– А по-моему, он еще хуже. – Клэри вспомнилось, с какой несерьезностью он отвечал на все их расспросы о том, чем намерен заняться, когда окончит школу.

– Мне бы свой ночной клуб, – заявил он. – Чтобы не спать всю ночь и грести деньги лопатой.

– И это *все*, чего тебе хочется?

– Не совсем. Само собой, хочется жить в свое удовольствие. Может, театр занять или стать дирижером оркестра – просто так, ради забавы.

– Неужели тебе ничего не хочется делать для других? – Едва выговорив эти слова, она осознала, какое в них сквозит самодовольство. Но было уже поздно. Некоторое время он смотрел на нее, а потом любезно отозвался:

– Я не хочу приносить пользу людям: хочу, чтобы пользу приносили *мне*.

– Это мы виноваты, – сказала Полли. – Мы завели с ним этот разговор, совсем как нудные взрослые с нами.

– Но Арчи он все-таки любит. – Еще одни слова, которых ей лучше бы не произносить.

Но Полли, которая силилась вспороть банку «спама», ответила просто:

– Так ведь Арчи ему вроде как заменял отца, верно? Пока дяди Руперта не было.

Когда вышел Невилл с просьбой как следует замотать ему шею одолженным у Полли шарфом, обе раскомандовались по-матерински: Клэри убеждала его хоть немного почистить ботинки, Полли пыталась пригладить его густые вихры, дыбом торчащие вокруг двойной макушки, но безуспешно – гребень чуть не треснул, а из спутанных волос выпал его сломанный зубец и еще один, от чьей-то чужой расчески другого цвета.

– Твои волосы отвратительны! Господи, что ты с ними делаешь?

– Или *не* делаешь, – вставила Клэри, которая наблюдала за ними.

– Да *ничего* особенного. Иногда меня стригут. А когда кто-нибудь соглашается одолжить мне бриолин, я мажу им волосы. Пытаться расчесать их бесполезно. Пока они блестят, мыть голову меня не заставляют. Мы пробовали масло из таких маленьких баночек, которым смазывают двери, чтобы не скрипели, но оно воняет. Бриолин гораздо лучше. И незачем закатывать глаза – волосы *мои*, что хочу, то и делаю.

Вскоре после этого он ушел, но весь остаток дня, пока они докрашивали комнату Клэри, по очереди мылись, готовили яичницу со «спамом» на жаркой кухне и смотрели в окно, на

раскаленную пыльную улицу, где дрались двое мужчин, пытаясь пырнуть друг друга ножами, их не покидали невысказанные мысли об Арчи.

– По-моему, надо вызвать полицию, – сказала Клэри. Внизу уже собралась небольшая толпа. У одного из дерущихся на рубашке проступила кровь.

– Да *вон же* полицейский, смотри.

Но всякий раз, когда он проходил мимо толпы, те двое изображали дружеские объятия, моментально пряча ножи. Полицейский не уходил, и в конце концов толпа рассеялась, а драчуны разошлись в разные стороны.

– Наверное, киприоты, – сказала Клэри.

– Откуда ты знаешь?

– Ну, здесь же *есть* киприоты, а англичане поножовщин не устраивают. А вообще на интересной улице мы живем, правда?

– М-м. Но лучше бы из нашего дома было видно хоть одно дерево.

– А разве нет?

– Ну Клэри, неужели ты не заметила? Ведь здесь нет ни единого окна, откуда видна какая-нибудь зелень.

Тем вечером Невилл не вернулся и даже не позвонил, чтобы предупредить об этом. «Спам» они доели с остатками помидоров. Хлеб зачерствел, поэтому его пустили на тосты.

– Завтракать придется «Грейп Натсом».

– Молока не осталось.

– *Господи!* Как люди только ухитряются питаться?

– Если Невилл прав насчет продуктов по карточкам, ума не приложу.

– Но почему не стало лучше даже сейчас, когда война уже кончилась?

– Я же рассказывала, что говорит Ноэль.

– А на работе, – задумчиво произнесла Полли, – у Каспара на обед всегда бутерброды с копченым лососем. Или баночка черной икры.

– А тебе он дает?

– Изредка. Когда Джервас отлучается по делам. Но Каспар сам часто обедает где-нибудь в городе, и тогда я остаюсь на хозяйстве. Я ем бутерброд, а он оставляет мне пачку накладных на обработку. Времени они отнимают кучу, потому что отпечатать их на машинке мне не разрешают – все должно быть заполнено перьевой ручкой и коричневыми чернилами на ужасно плотной белой бумаге. А он, вернувшись, проверяет, нет ли там ошибок.

– Занудство.

– Да, а в остальном работа хорошая.

– Ты про выезды на дом к клиентам?

– Да. Клиенты обычно вредные, а дома иногда изумительные. – Она умолкла, ее темно-голубые глаза потускнели, приобрели сероватый оттенок, означающий, что ей грустно, о чем хорошо знала Клэри.

– Полл?..

– Даже не знаю. Наверное, из-за положения в мире. Мы же с таким нетерпением ждали, когда закончится война, как будто жизнь сразу должна была стать другой, чудесной, а не стала, ведь так? Мы так хотели мира, а от него, похоже, счастливее никто не сделался. И речь не только о нас. Отцы наши тоже не выглядят счастливыми – по крайней мере, про своего я знаю точно, а ты говорила, что беспокоишься за своего, и Саймону даже мысль о службе в армии ненавистна. И все такое унылое и тягостное, и ничего чудесного, что могло случиться, теперь уже не будет.

Она взялась за свое шитье, невидящими глазами посмотрела на него и снова опустила.

– Дело в том, – неуверенно произнесла она, – что я, кажется, не могу *не* любить Арчи. Как-то так вышло, что в этом был смысл моей жизни. Был и, похоже, *останется*. До того, как я ему

сказала, я часто фантазировала – ну, знаешь, про всю оставшуюся жизнь с ним, а потом, когда сказала и ничего хорошего не вышло, фантазий я лишилась. Или они стали невыносимыми. Да, пожалуй, так и есть – я не могу их вынести.

Клэри растерялась. Полли ни словом не обмолвилась об Арчи с тех пор, как заявила, что больше не желает говорить об этом никогда, и хотя Клэри втайне думала, что Полл, как она это называла, «немного не в себе», она даже представить себе не могла, насколько несчастна ее кузина. Ей нестерпимо хотелось утешить Полли, отвлечь ее от душевных мук, каким-нибудь добрым и мудрым изречением пролить на все это новый, обнадеживающий свет, но в голову ничего не лезло.

– В любви я ничего не смыслю, – наконец сказала она. – Помощи от меня никакой. А жаль.

– Я тебе рассказала – и стало легче. Мне казалось, все пройдет, если я даже заикаться об этом не буду, но так и не прошло.

Спустя долгое время она сказала:

– Как думаешь, ведь не до конца жизни я буду чувствовать себя, как сейчас? Когда-нибудь это кончится, правда?

– Обязательно, я в этом уверена, – ответила Клэри, хоть никакой уверенности не ощущала. – А ты скажешь мне, когда все пройдет?

– Конечно, скажу.

С тех пор она относилась к Полли с тревожным уважением: с уважением потому, что она стойко держалась, хоть и грустила каждый день, а с тревожным – из-за тайных опасений, что если уж тебя захватило какое-нибудь сильное чувство, то это на всю жизнь.

* * *

Луиза сидела под надрывно ревушим сушиуаром. Часы показывали половину седьмого утра, начинался второй день ее работы на киностудии «Илинг», где она участвовала в массовке на съемках фильма о Древнем Риме – комедии с Томми Триндером и Фрэнсис Дэй. Разумеется, она предпочла бы настоящую роль, но радовалась уже тому, что попала в кино. Железные бигуди, на которые накрутили ее длинные волосы, местами так раскалились, что, казалось, горела кожа головы. Волосы здесь всем мыли каждое утро, это выяснилось на второй день. Когда волосы признавали высушенными, полагалось занять очередь на грим – на редкость трудоемкий процесс, который решительно всех старил и делал почти неразличимыми. Когда подходила очередь Луизы, она откидывалась на спинку кресла перед зеркальной стеной с ослепительными оголенными лампами, а Пэтси или Берил наносили тампонами и разравнивали крем-основу (под названием «карамельный персик») по всему ее лицу и шее. Брови рисовали дугами и чернили, затем накладывали на веки тени оттенка копирки. После этого приходилось закрыть глаза, чтобы ее густо и тщательно напудрили. Дальше рисовали ей губы – огромный «лук Купидона» с темным контуром, заполненным яркой красно-оранжевой помадой, которую наносили кисточкой. Последним этапом, особенно тревожащим ее, было приклеивание накладных ресниц: клейкую полоску маскировали нарисованной стрелкой и в несколько слоев красили ресницы синей тушью. Самой себе Луиза казалась бабочкой, крылья которой слишком тяжелы для полета – требовалось прилагать усилия, чтобы держать глаза открытыми.

– Облизните губы. Вот так. А разглядывать себя идите к костюмерам.

В первое утро она взглянула на себя в зеркало: под бигуди и сеткой для волос простиралась безупречная гладь «карамельного персика», на которой она узнала собственные глаза, теперь окруженные колючей проволокой. Ее губы, неправдоподобно пухлые, лоснились, как две атласные подушечки. «Шикарно», – подумала она, еще никогда в жизни она не чувствовала себя настолько шикарной.

В костюмерной ее втиснули в лиф, набитый настолько щедро, что, глядя сверху, она не видела собственных ступней. Куца юбочка с разрезом сбоку дополняла этот костюм, сшитый из желтого бархата с золотой бахромой. Ее талия была дерзко оголена, но ей и еще одиннадцати так же одетым статисткам предстояло изображать девушек-рабынь, и она решила, что скудное одеяние призвано указывать на их низкое положение в обществе.

И наконец – обратно к парикмахерам, где бигуди снимали, волосы собирали в высокий узел на одном боку и выпускали из него пышную массу ненатуральных длинных локонов, стильно ниспадающую на правое плечо. После этого ее отпускали в гримерную, общую с еще пятью девушками, – ждать, когда позвонят. Вчера их так и не позвали: пришлось весь день сидеть, кутаясь в тонкие халатики, курить, пить чай одну чашку за другой и болтать о ролях, которые они чуть было не получили вместо этой. Скуку развеял единственный момент, когда некто по имени Гордон заглянул к ним, придирчиво осмотрел и спросил, как же быть с ногами. Послали за костюмером, которая заявила, что про ноги *лично ей* ни слова не говорили. Потом позвали еще нескольких людей, и те высказали свое мнение. Историка-консультанта прислали сообщить, что сандалии – то, что надо; художник-постановщик возразил, что они же рабыни, почему бы им не ходить босиком? Помреж, прибывший последним, отмахнулся: чушь, это же не серьезная историческая картина, а комедия для всей семьи, а ноги девочек всегда лучше смотрятся на каблуках: «Да все равно какого цвета, лишь бы были элегантные лодочки». Художник сказал на это, что, по его мнению, лодочки на высоком каблуке *как-то не очень* сочетаются с костюмами в целом. Консультант устало заметил, что с такими костюмами *ничто* не сочетается и для чего он вообще понадобился на съемках этой картины – непонятно. Костюмер внесла предложение: если уж обувать девушек в лодочки, то белые атласные, перекрашенные под цвет костюмов. Гордон сказал, что лучше будет сводить кого-нибудь из девушек на площадку, выяснить, что думает насчет костюмов Сирил. К удовольствию Луизы, выбор пал в том числе и на нее: ей давно хотелось увидеть настоящую съемочную площадку.

И она направилась за Дженетт и Марлин, следующих за Гордоном по длинному коридору и в дверь, за которой обнаружилась узкая бетонная дорожка до здания, похожего на чудовищно высокий сарай. Над его дверью горела красная лампочка.

– А почему мы ждем? – спросила Луиза у Марлин, когда ожидание под дверью слегка затянулось.

– Там идет съемка, милочка.

– А-а.

Вдалеке на бетонной дорожке показались двое низеньких и щуплых мужчин, пошатывающихся под тяжестью предмета, похожего на очень мелкий каменный вазон, богато украшенный дельфинами и голым мальчиком в центре, играющим на чем-то вроде дудочки. От вазона резко пахло свежей краской. Его поставили неподалеку от двери, один из носильщиков покопался у себя за ухом, нашел сигаретный бычок и закурил.

Гордон с отвращением оглядел вазон.

– Куда это вы его таскали?

– Велели вернуть – вид, дескать, слишком новый.

Красная лампочка погасла, Гордон открыл дверь.

– Так, девушки, за мной.

Идти пришлось чуть ли не в полной темноте, по бетонному полу, на котором там и сям попадались толстые провода, складные стулья из парусины, тележка гримера, какие-то люди, стоящие у подножия стремянок молча или с вопросами: «Ну что там, Билл?», неизвестные в наушниках за большими черными машинами, – и так до ярко освещенной съемочной площадки с овальным бассейном, полным некой молочно-белой жидкости, с декорациями под мрамор и с каким-то мраморным креслом или тронem в дальнем углу, где восседала пепельная блондинка в плиссированном платье из розового шифона с одним открытым плечом и бре-

телькой, усыпанной стразами, на другом, а худой мужчина в рубашке, присев на корточки у ее ног, согласно кивал в ответ на все, что она говорила.

– Дорогая, я *знаю*, что это не про тебя. В том-то и дело, – услышали Луиза и ее спутники, подойдя поближе.

– Я о чем: она-то не стала бы, верно? Да еще в таком платье.

– Ты совершенно права. Она бы не стала.

– Не понимаю, с какой стати я должна прыгать в эту жижу.

– Дорогая, в ослиное молоко.

– В задницу ослиное молоко! От него заоченеешь.

– Дорогая, ничего подобного. Брайан обещал.

– Сейчас оно было совершенно как *лед*.

– Это же только репетиция. А когда начнем снимать, обещаю тебе, оно будет *теплым*.

Он заметил Гордона и совсем другим тоном обратился к нему:

– Ну что еще?

Гордон объяснил.

Луиза заметила, как небрежно он осмотрел ее тело; на лицо даже не взглянул.

– На ноги камера наезжать не будет, – постановил он. – Мы и так вышли из бюджета.

Просто покрасьте им ногти – золотым, или как-то так.

Этим все и кончилось. Больше в тот день не было ничего.

Вечером, сняв столько грима, сколько удалось – ей выдали кольд-крем и вату, но дело все равно продвигалось еле-еле, – она отправилась домой, доехала на метро до Ноттинг-Хилл-Гейт, затем на такси – до Эдвардс-сквер, где теперь жила с Майклом (который приехал в отпуск, прежде чем принять командование новым эсминцем в Тихом океане), Себастьяном, няней и еще, по выражению миссис Лайнс, с «прислугой за все» – миссис Олсоп и ее маленьким сыном. Миссис Олсоп и няня не ладили: последняя как-то выведала, что миссис Олсоп никакая не «миссис», а просто-напросто не заслуживающая никакого уважения мама Дэвида – маленького, бледного и запуганного ею. Обе стороны этой междоусобицы сдерживались, желая произвести хорошее впечатление на Майкла, в блаженном неведении не замечавшего никакой натянутости. Луиза же заранее ужасалась, предвидя, что ей неизвестно сколько придется справляться с этим положением своими силами.

Майкл ушел с флота, чтобы баллотироваться на выборах в качестве кандидата от консерваторов, ему достался считавшийся сравнительно надежным избирательный участок в лондонском пригороде. Ежедневно в течение трех недель Луиза сопровождала его: сидела рядом с ним на сценах, пока он произносил зажигательные речи об образовании, жилье и малом бизнесе, днем расставалась с ним и вместе с женой председателя местного отделения консервативной партии встречалась с другими женами. Зачастую в один день у нее было запланировано три-четыре изысканных чаепития с кексами в корзинках в компании дам в шляпках, с перчатками и сумочками в тон; ее расспрашивали о ребенке и говорили, как она, наверное, рада, что ее муж дома. Она ухитрялась умело притворяться, будто играла в пьесе: на три недели Луиза вжилась в роль преданной жены героя войны и молодой матери. Зи убедила несколько высокопоставленных представителей партии консерваторов, в том числе двух членов Кабинета, приехать и выступить в поддержку Майкла, и они, должно быть, впечатлились ее игрой, так как Майкл рассказал ей, что, с их слов, адресованных Зи, она прекрасно держится. Это польстило одной из частичек ее «я», но только одной. Самой себе она казалась составленной из мелких частичек, почти не имеющих отношения друг к другу – как будто, подумалось ей как-то в редкий момент просветления, она когда-то была куском стекла и ее разбили молотком или при бомбежке, так что уцелевшие зазубренные осколки не совмещались, потому что многие из них разлетелись вдребезги. Всякий раз, когда она смотрела в какой-нибудь из них и видела свое отражение, ей становилось неловко, а иногда и стыдно. Например, ей хотелось одобрения –

даже от людей, которые ей не нравились. Хотелось, чтобы люди считали ее совсем не такой, какая она на самом деле. Тут всплывала способность играть роли, и это только усиливало ее раздробленность. Она поражалась тому, как легко ей это дается, и ужасалась своей непорядочности. Луиза предполагала, что причина этой легкости в том, что она мало что чувствует – если не считать мелких неудобств, раздражения, вызванного домашними междоусобицами, и скуки, когда приходилось заниматься тем, что, как она заранее знала, окажется нудным. Ей удавалось почти целиком избегать близости с Майклом, который некоторое время дулся, а теперь, в чем она почти не сомневалась, нашел утешение на стороне, потому что практически перестал заводить разговоры о следующем ребенке и средствах на нынешнего.

Ее это мало беспокоило, и, когда Майкл проиграл выборы, отстав на триста сорок два голоса от кандидата лейбористов, он сразу же предпринял меры для возвращения на флот, где его как будто бы уже ждали. Это означало службу на эсминце и Тихий океан. «Надолго?» – спросила она. «Не более чем на два года», – ответил он. Мысли об этой отлучке вызывали что-то вроде облегчения. Ей казалось, она не в состоянии принять хоть какое-нибудь решение насчет своего брака, пока Майкл дома, а не на войне, но когда у нее мелькала мысль о том, чтобы обдумать такой шаг, как уход от него, она настолько пугалась, что была рада весомой, как ей казалось, причине ничего подобного не обдумывать. Майклу она сказала, что попробует вернуться к актерству, и он не стал возражать. «Буду только рад знаменитой жене» – в его словах была лишь доля шутки. Ценой невероятных усилий ей удалось получить только эту роль в массовой фильме, который обещал получиться ужасным. А потом, вернувшись со студии в первый же вечер, она обнаружила, что все опять изменилось.

– Американцы сбросили атомную бомбу на Японию.

– Знаю, – ответила она. Об этом мимоходом упоминали утром на студии после грима, пока запихивали ее в щедро набитый лифчик.

– Что они еще устроят? – спросила Марлин после перерыва на обед, но ответа ей никто не дал.

– Если при мне еще хотя бы раз скажут слово «бомба», я закачу истерику, – пообещала некая Голди.

Не сказал никто.

– ...милая, неужели ты не понимаешь? Это же может означать, что войне конец.

– Надо же! – отозвалась она, не поверив ему ни на минуту. Ему просто нравилось обсуждать войну.

После второго дня на студии они принимали за ужином Каргиллов, и она рассказала, как столкнулась на съемочной площадке с Томми Триндером. Он был в очень короткой белой юбке-кильте в складку, приплясывал в полном одиночестве, задирали юбку обеими руками и напевал: «А вот так видно! А вот так – нет!»

Рассказ успеха не имел. Патрисия Каргилл сказала: «Боже правый!», а ее муж, назначенный первым помощником на эсминец Майкла, смущенно улыбнулся: «Очень смешно», потом переглянулся с Майклом, и тот распорядился:

– Проводи Патрисию наверх, милая, оставьте джентльменов наедине с портвейном.

На самом деле портвейна у них не было, просто он нашел способ отделаться от нее – от них обеих.

Она увела Патрисию Каргилл наверх, в хорошенькую гостиную буквой L. Здесь она выкрасила стены в белый цвет и повесила занавески из матрасного тика – в серую и белую полоску, подвязав их желтыми шнурами. Этой комнатой Луиза была довольна, несмотря на скудную меблировку – диван, два кресла и красивое зеркало, которое нашла вместе с Хьюго. «Тридцать шиллингов, если увезете сами», – сказал хозяин, и Хьюго отозвался: «По рукам!» Он даже уговорил таксиста уложить зеркало на крышу. Теперь в нем отражались два больших окна, обращенных к площади. Всякий раз, смотрясь в это зеркало, она знала, что в нем еще

сохранилась аура счастья, и не могла не смотреться, когда оставалась одна. После первого горького осознания, что Хьюго мертв, что больше она никогда его не увидит и что его единственное письмо к ней пропало, ей пришлось отгородиться от всех мыслей о нем. В ледяном оцепенении воспоминания опаляли: казалось, проще вообще ничего не чувствовать.

Она взялась за роль хозяйки дома.

– Не хотите попудриться, и так далее?

– Нет, спасибо.

– Кофе подадут в столовую, но я могу принести вам сюда, хотите?

– Нет, спасибо. Стоит мне выпить кофе на ночь, и я глаз не могу сомкнуть. – Патрисия виновато засмеялась, перебирая ожерелье из градуированного жемчуга, неровно лежащее на выдающемся солевом отложении у нее ниже шеи. – Вашему малышу два года, верно? Вы, должно быть, очень рано вышли замуж.

– Мне было девятнадцать.

– А нам пришлось ждать, когда Джонни получит свою вторую полосу. Он не стал жениться на мне, пока довольствовался лейтенантским жалованьем. Нам повезло: из-за войны его повысили раньше. Мы поженились в тридцать восьмом, Джонни тогда служил в Средиземном море, и я провела дивный месяц на Гибралтаре. Как мы веселились! Танцы, вечеринки на борту, игра в поиск кладов, пикники! А потом Джонни перевели, и мне пришлось возвращаться домой. В то время я уже была беременна близнецами. – Она снова виновато засмеялась. – Напрасно я навожу на вас скуку своими рассказами. Вы, должно быть, страшно расстроились, что ваш муж не попал в парламент.

– Ну, вообще-то в политической жизни от меня было бы мало толку. И по-моему, он тоже не огорчился. Ему больше по душе его эсминец.

– Так ведь я об этом и говорю. О том, что придется расстаться надолго. Как раз когда вы, должно быть, уже думали, что он вернулся домой навсегда.

– Но ведь и вы тоже расстаетесь, верно?

– Это другое дело. Ведь Джонни кадровый военный, так что я, разумеется, привыкла к его отлучкам. А вам, женам «волнистых полосок»³, я искренне сочувствую. – Взгляд ее блекло-голубых глаз навывкате остановился на лице Луизы с выражением добродушной задумчивости. Она подалась вперед. – Не считите за бесцеремонность, но я *могла бы* дать вам один маленький совет.

Луиза ждала, гадая, что бы это могло быть.

– На вашем месте я бы в лепешку расшиблась, лишь бы завести еще одного малыша. Вы поразитесь, увидев, как в этом случае летит время. И все самое неприглядное закончится, пока ваш муж в отъезде.

– Значит, и вы поступите так же?

– О, дорогая, если бы! Но у нас уже четверо, и честно говоря, еще одного мы не можем себе *позволить*. А я была бы просто счастлива, ведь, по-моему, для этого и существует брак. Кое-что в нем, – на ее бледном лице проступила слабая краска, – пожалуй, переоценивают, если вы понимаете, о чем я.

Во время короткой паузы Луиза задумалась, почему ей – кажется, единственной во всем мире – не хочется еще одного ребенка. Няня постоянно делала намеки на этот счет: «Себастьян все время спрашивает, когда у него будет младшая сестричка» – это был лишь один из ее неприятных способов выразить словами все ту же мысль. Желая сменить тему, Луиза спросила:

– Как вы думаете, эта бомба остановит войну?

– О, дорогая моя, я была бы этому лишь рада. Но вы же знаете японцев!

³ Полосы на знаках различия у резерва британских ВМС были волнистыми в отличие от прямых у офицеров регулярного флота (*примеч. пер.*).

– Значит, наверное, нет.

Она в жизни не встречала ни одного японца и ничего о них не знала. Одним из ее открытий насчет своего брака было то, что она ничего не знала о множестве вещей, о которых и не хотела ничего знать.

Но через два дня сбросили еще одну бомбу; и не прошло и недели, как Япония капитулировала. Майкл так и не успел взять под командование эсминец, был вынужден уйти с флота и снова заняться портретами.

Когда Луиза узнала об этом, необходимость решать, что, черт возьми, ей делать со своей жизнью, снова нависла над ней, и от ужаса ею овладела апатия. Съемки в фильме закончились, продлившись всего неделю, и она вернулась к прежнему состоянию далекой от идеала жены и матери. Ей хотелось с кем-нибудь поговорить, единственным подходящим слушателем была Стелла, и Луиза вдруг с чувством вины и тревоги поняла, что не знает даже, где сейчас Стелла и чем она занимается. Майкл так и не поладил со Стеллой; и хотя сама Стелла всегда придерживалась загадочного нейтралитета, когда речь заходила о Майкле, Луиза с неловкостью ощущала, что и она его недолюбливает. Она позвонила родителям Стеллы, к телефону подошла миссис Роуз.

– А, Луиза! Давно не виделись! С вашим сыном все хорошо? А с вашим мужем? Отлично. Стелла? Она в отъезде. Работает в какой-то загородной газетенке, пишет всякую чушь – как одета невеста на очередной местной свадьбе. Отец ею недоволен, считает, что это бездарная трата образования, которое ей дали. Конечно, у меня есть ее номер. Минутку... сейчас поищу. Если увидите с ней, пожалуйста, посоветуйте ей выбрать более разумное занятие.

Они встретились за обедом в одном из пабов Бромли на следующий день.

– Хорошего обеда не жди, – предупредила Стелла по телефону, – зато если хочешь поговорить, там будет тихо.

Паб пустовал.

– Как ты узнала, что я хочу поговорить?

– Ну, вряд ли ты потащишься бы в такую даль, только чтобы поглядеть на меня.

– А я, между прочим, рада тебя видеть. Извини, что потеряла связь с тобой.

– Хоть мы и не виделись, не думаю, что мы потеряли связь. – Она занялась меню. – Давай сначала закажем еду. Итак. Можешь взять суп – томатный – или грейпфрут. И то, и другое будет консервированным. На твое счастье, из разных банок. На второе выбирай или картофельную запеканку с мясом, или филе камбалы. Советую камбалу. К ней дают настоящий картофель фри, а в запеканку кладут мерзкий сушеный.

– Выбирай ты, мне в самом деле все равно.

По причине, которой Луиза не поняла, на глаза у нее навернулись слезы. Смаргивая их, она увидела, как в улыбке подруги знакомо смешались цинизм и симпатия, и узнала их фамильную черту: так улыбался ее отец.

Стелла заказала еду, потом подтолкнула к ней через стол пачку сигарет.

– Не знала, что ты пристрастилась к курению.

– Я – нет. Это для тебя. Покури. Еду принесут еще не скоро. Рассказывай все, о чем пришла рассказать.

– Даже не знаю, с чего начать.

– Это из-за Майкла?

Она кивнула.

– Так не годится. Я не гожусь. Не надо было мне выходить за него.

– Значит, ты влюблена в другого?

– Нет. Была когда-то.

– И что же?

– Он умер. Его убили.

- И ты, стало быть, до сих пор с ним.
- С Майклом?
- С любимым. Очень трудно разлюбить человека, когда он умирает. Искренне сочувствую тебе, – добавила она, – но я знала, что Майкла ты не любишь.
- Я думала, что люблю.
- И об этом знаю. Долго ему еще служить на флоте?
- Луиза объяснила насчет службы.
- Тем временем принесли суп и тарелку с двумя кусками сероватого хлеба.
- Так что, как видишь, я надеялась, что у меня будет целых два года, чтобы все обдумать... то есть решить.
- Ты и так можешь, разве нет?
- Она поразилась этой мысли и отвергла ее.
- Это было бы уже не то. Ведь он почти все время *здесь*. А теперь, когда его родные вернулись в Лондон, придется ужинать с ними хотя бы раз в неделю. Его мать меня ненавидит. Он рассказал ей о том, другом, и конечно, теперь она ненавидит меня еще сильнее.
- А как малыш?
- Он замечательный. Нам очень повезло с няней. *Его-то* Зи обожает. Выглядит он точь-в-точь как Майкл в том же возрасте – так она говорит. – Луиза почувствовала на себе взгляд Стеллы, попыталась посмотреть ей в глаза и не смогла.
- Официантка принесла им рыбу.
- Все в порядке? – спросила она, убирая тарелки с нетронутым супом.
- Да, спасибо. Мы заговорились, и он остыл.
- Когда она отошла, Стелла спросила:
- Чем хочешь заняться, если уйдешь?
- Не знаю. Видимо, попробую найти работу. Денег у меня нет, так что придется. И какое-нибудь жилье, – после паузы добавила она.
- Судя по голосу, от этой перспективы ты не в восторге.
- Так и есть. А с чего ты взяла, что я буду в восторге хоть от чего-нибудь? У меня вся жизнь кувырком.
- Съешь хоть что-нибудь, Луиза. Надо питаться.
- Она отделила от черной рыбьей кожи ломтик мяса и положила в рот.
- Вкус у нее отвратный, правда? Как загустевшая мерзлая вода.
- У камбалы?
- Няня дает ее Себастьяну на обед. Он ее не выносит. – Она взяла пальцами ломтик картошки и съела. – И все-таки. Если ты считала, что мне не стоит выходить за Майкла, почему не сказала мне?
- Ох, Луиза, и что бы из этого вышло, как ты думаешь? Такие советы никто не принимает, кем бы ни был советчик.
- Но я же здесь: спрашиваю тебя, как, по-твоему, мне следует поступить!
- Правда?
- Да! Да, так и есть.
- Ну что ж. Раз ты *уже* вышла за Майкла и у тебя ребенок, думаю, ты должна сделать все возможное и полностью удостовериться, что у тебя ничего не выйдет. Ты не смогла бы, если бы он уплыл в Тихий океан, а теперь, когда он рядом, сможешь.
- Он спит с другой. А может, и с другими.
- Известие Стеллу не тронуло.
- А ты была ему верна?
- Луиза ощутила, как вспыхнули ее щеки.
- Нет. Ну, у меня был роман – после смерти Хьюго. Но это ничего не значит.

– Дело действительно не в этом, так?

– О чем ты?

– Я про то, что твое отношение к тому, что ты сделала, не отменяет сам факт того, что ты это сделала.

– Не отменяет. Не надо было мне, конечно.

– Я ведь тебя не осуждаю...

– Еще как осуждаешь.

– Нет. Просто хочу расставить все по местам. По-моему, тебе надо с кем-нибудь поговорить.

– Вот я и говорю – с тобой.

– Нет, я имею в виду профессионала. Мне думается, должно быть еще много такого, что ты от меня скрываешь. И то, в чем не признаешься даже себе.

– По-твоему, я *с приветом*, или как? Хочешь сказать, что мне надо к *психиатру*? – Она даже никогда *не слышала*, чтобы кто-нибудь решался на такое. – Скажи честно, ты правда считаешь меня сумасшедшей?

– Не болтай чепухи. Конечно, сумасшедшей я тебя не считаю, но видно же, что ты несчастна, и по-моему, продолжаешь делать то, от чего становишься еще несчастнее. Возможно, тебе следовало бы выяснить почему.

– Хочешь сказать, если мне объяснят, что причиной всему моя влюбленность в собственного отца, или наговорят еще какой-нибудь фрейдистской чепухи, все сразу наладится? Ведь все они считают: если с человеком что-то не так, то это как-то связано с сексом или с его родителями, да? – Ей хотелось закурить, но руки тряслись, а она не желала, чтобы это видела Стелла, которая как будто примкнула к врагам.

Стелла протянула руку, вынула из пачки сигарету, сунула ее Луизе в рот и поднесла огонек.

– Все в нас как-то связано с нашими родителями, – сказала она, – и, наверное, с сексом тоже. Насчет этого точно не знаю. Зато кое-что знаю про несчастья – благодаря моей тете, папиной сестре, которая живет с нами.

– А *она-то* почему несчастна?

– Дядю Луиса отправили в Аушвиц. Понадобилось несколько недель, чтобы выяснить это. Нам известно только, что он попал туда в июне 1944 года. И сам дядя Луис, и его совсем старенькие родители, и его сестра. Один из друзей видел, как их забирали.

Луиза в ужасе уставилась на нее, но серовато-зеленые глаза Стеллы были сухими, а голос ровным, пока она продолжала:

– Вряд ли его родители пережили такую поездку. Два дня в вагоне для перевозки скота без еды, без воды и даже почти без воздуха. Надеюсь, они не выдержали. Так или иначе, теперь тетя Анна *знает* обо всем. Она разузнала все, что только смогла, хоть папа и пытался оградить ее.

Последовало молчание, пока Стелла отпивала воды, а Луиза пыталась представить, как одни люди способны творить такой ужас с другими, и не могла.

– У нее ведь была дочь, да? Ты говорила, что у нее внук, которого она никогда не видела.

– Их отправили в другой лагерь. По-видимому, еще раньше. Они ведь жили в другом месте.

– О-о... бедная тетя Анна! Сколько на нее всего свалилось!

– Да. Она не в состоянии думать ни о чем, кроме себя и своих утрат.

– Как ты можешь винить ее за это?

– Я не виню. Только пытаюсь объяснить тебе хоть что-нибудь про несчастье. Я не говорю, что следует или не следует с этим делать, просто рассказываю, как это бывает.

– Не понимаю, как можно сравнивать мои несчастья с тетиными, пусть даже приблизительно.

– Не в этом суть, Луиза. А в том, что когда – по-моему, так и есть, – когда на кого-нибудь сваливается больше определенной меры несчастий, он отключается. Не чувствует никаких утешений, сочувствия, заботы со стороны других людей – все они просто исчезают, будто проваливаются в какую-то бездонную яму. И когда сочувствующие понимают это, они перестают сопереживать и утешать. Что будешь – серый кофе или розовато-бурый чай?

Она выбрала кофе, и пока Стелла делала заказ, ушла в туалет. Там ей вспомнилось, что миссис Роуз просила ее посоветовать Стелле заняться каким-нибудь более осмысленным делом. Теперь эта мысль казалась еще более нелепой, чем во время разговора: Стелла явно не нуждалась в советах. Потом она вдруг сообразила, что ничего не знает о работе или жизни Стеллы, что весь обед они проговорили о ее бедах и что совет Стеллы – сначала убедиться, что никакими стараниями она не сумеет наладить свой брак, – был продиктован не враждебностью, а нелепо доставшимся здравым смыслом.

Но когда она вернулась к их столику, на котором теперь стояли только три лиловых астры в зеленой стеклянной вазе и их чашки с кофе, Стелла заговорила первой:

– Прости, Луиза, за то, что я так на тебя наехала. Боюсь, это у нас семейное. Все в нашем доме вечно дают друг другу непрошенные советы. Просить совета у кого-нибудь из Роузов опасно – получишь его с процентами.

– Нет, я обратилась к тебе, потому что знала, какая ты рассудительная. Просто все это так пугает. – И она добавила: – Не хочу участи бедной тети Анны.

Стелла метнула в нее острый взгляд.

– Знаю, что не хочешь, так что избежишь.

– Расскажи мне о себе. Я ведь ничего не знаю ни про твою работу, ни про остальное.

– Я осваиваю журналистику.

– Но почему здесь?

– Надо же где-то начинать. Проверенный способ – устроиться в какую-нибудь провинциальную газету и писать там обо всех местных событиях без исключения. Я пишу про свадьбы, любительские постановки, спортивные состязания, несчастные случаи, церемонии награждения, церковные праздники, базары, благотворительные события – про все на свете. Папа в бешенстве. Он не возражал бы, устройся я в учебно-просветительское приложение к «Таймс» или даже просто в «Таймс», но ему невыносимо представлять, как я кропаю заметки об оттенке платьев невест или о размерах выручки лотка на благотворительной барахолке. Он говорит, что только зря тратил деньги на мое образование. Мне следовало бы учиться на врача или юриста – так *он* говорит. А мутти все мечтает, что я сделаю прекрасную партию и выйду за баснословного богача, англичанина до мозга костей. Пришлось уйти из дома, потому что если они не напускались на меня, то начинали ссориться между собой. А тетя Анна считает, что мне следовало бы работать с детьми, которых привозили сюда из лагерей.

– Не знала, что эти дети здесь.

– В нескольких местах по всей стране. Папа вызвался консультировать их по медицинским вопросам, но разругался с тамошним начальством, потому что они строжайше требовали, чтобы вся еда была кошерной. А он говорил, что это идиотизм: ввиду состояния, в котором находятся дети, и при карточной системе восстановить их здоровье так будет гораздо труднее. Я поскандалила с ним по этому поводу.

– Почему? Ты же не религиозна, зато практична. Значит, хотя бы в этом вопросе должна быть на его стороне, – разве нет?

– Дело не в том, что я не согласна лично с ним. Просто мне казалось, ему следует видеть смысл и в чужой точке зрения.

– Ну и какой он? С моей, единственное, что имеет смысл, – помочь им поправиться.

– Их вера имеет значение. Из-за того, что они евреи, они лишились всего – родных, страны, дома, средств к существованию. Все, что у них осталось, – это они сами. Евреи старшего поколения хотят, чтобы дети все помнили и принимали всерьез, а религия *и есть* стержень. Но папа не в состоянии преодолеть собственное неверие. Вечно он считает, что все должны рассуждать так же, как он. И, естественно, делать, что он скажет. – Она улыбнулась все той же циничной и сочувственной улыбкой. – Не делать, как скажет папа, проще, когда живешь вдали от него.

– Значит, у тебя здесь квартира или еще что-ни- будь?

– Угол. Я живу там же, где и ты раньше, – в Стратфорде. Когда-нибудь я пробьюсь в газету получше – в Лондоне, или в Манчестере, или в Глазго. Хотя бы амбиции у меня есть. Папа этим доволен.

Помолчав немного, она вдруг выпалила:

– Я думала о том, чтобы предложить приехать и помогать этим детям. Но когда понадобилось сесть и написать письмо, не решилась.

Луиза так и не поняла, что это – доверительность или откровенность.

– Понимаешь, это был всего лишь *шанс*. Такой маленький, *малюсенький* шанс. В тридцатых годах папа консультировал в одной большой больнице в Вене. Он разработал новый способ лечения язвы желудка, и однажды утром, явившись в больницу, узнал, что другой врач отменил прописанное им лечение. Папа страшно поскандалил с тем врачом, тот назвал его наглым еврейчиком, и он ушел из больницы и решил переехать в Англию. Он знал, что ему снова придется учиться и подтверждать свою квалификацию, чтобы иметь здесь врачебную практику, но был к этому готов. На следующей неделе мы уехали из Вены. В то время мне было тринадцать, мне не хотелось расставаться с подругами, со школой, со всем, чем я жила. Но если бы в то утро другой врач не оскорбил папу, он мог и не переехать сюда.

Луиза уставилась на нее, начиная понимать, что она имеет в виду.

– Вот так. Порой, когда знаешь, что избежал некой участи, она внушает гораздо больше страха.

3. Жены

Октябрь – декабрь 1945 года

– Так *как* давно, говоришь, ты знакома с этим малым?

– Я об этом не говорила, но давным-давно. Он вроде как дружил с Ангусом.

– Но ты же сказала, что он женат.

– Да, Джон, так и есть. Но хочет жениться на мне.

– Ну и что толку, если он уже женат? Это же совсем другое дело.

Она увидела, как его осенила мысль.

– Разве что он подумывает развестись.

За долгие годы отсутствия ее милого брата она совсем забыла, какой же он все-таки тугодум.

– Вообще-то, да, об этом он *как раз* и думает.

Она смотрела на его лицо, когда-то такое румяное и в мелких складочках, выдающих, сколько всего озадачивает его, а теперь разглаженное до полной бессодержательности. Его кожа приобрела оттенок желтоватой бумаги, рыжеватые усы были сбриты, а волосы, раньше буйные и отливающие медью, стали сухими, тусклыми и с залысинами, и все его тело, казалось, сохлось внутри мундира.

– Диана, старушка, я же о твоём счастье пекусь. Тебе пришлось так паршиво – Ангус умер, и все такое.

Он съел все картофельные чипсы из мисочки, которую она поставила перед ним, а к виски с содовой почти не притронулся. Младше ее на три года, теперь он выглядел хилым и постаревшим. В армию он ушел еще до войны, пропал после падения Сингапура, и после этого от него почти два года не приходило никаких вестей. Она считала его погибшим, а потом откуда-то просочились сведения, что он в лагере для военнопленных. Месяц назад он вернулся на родину после нескольких недель, проведенных в нью-йоркском госпитале, где, как он выражался, ему «дали нагулять жир». Одному Богу известно, как он выглядел до госпиталя. К братишке она была искренне привязана, хоть и убедилась, что соображает он так же медленно, как раньше.

– Дорогой, это тебе пришлось паршиво.

Она встала и подсыпала еще чипсов из пакета в мисочку перед ним, и он принялся за еду, не дождавшись даже, когда она уберет пакет.

– Мне лучше есть понемногу, но часто, – виновато улыбнулся он. – Второе меня вполне устраивает.

– И неудивительно, если ты голодал столько лет.

– Боюсь, я стал прожорлив, как свинья. – Он приподнял мисочку. – Мы обычно съедали по миске риса почти такого же размера в день.

– И больше ничего?

– Ну, иногда еще овощи, если удавалось вырастить или выменять их. Но в основном ели пустой рис. И воду, в которой он варился. Знаешь, все старались вырастить хоть что-нибудь, но японцы часто давили все наши посадки, катались прямо по ним на джипе. Вот так ждешь урожая, думаешь, что скоро уже пора собирать его, а тут тебе – опа! – Заметив выражение на ее лице, он добавил: – Да нет, не всегда они их давили. Только когда думали, что кто-то из нас зарвался, и хотели наказать нас за это. – Он полез в карман и достал блестящую новенькую трубку. – Ты не против, если я закурю?

– Конечно нет, дорогой.

Пока он разворачивал клеенчатый кисет, брал щепотку маслянистого табачного крошева, нетвердыми пальцами набивал чашу трубки, ей вновь пришлось в голову, что у Эдварда, возможно, найдется для него какая-нибудь работа, и она всем сердцем пожелала, чтобы они пола-

дили друг с другом. Проблем с Эдвардом, скорее всего, не возникнет, а вот с Джоном – почти наверняка. К мыслям и мнениям, какими бы они ни были, ее брат приходил с трудом, зато потом твердо держался их. Она не решилась объяснить ему, что это Эдвард «помог» ей взять в краткосрочную аренду квартиру в особняке с видом на Риджентс-Парк, где сейчас она жила с Джейми и Сюзан. И уж конечно не призналась, от кого родила дочь. Все это она объяснила Эдварду, чтобы он ненароком не дал маху. Господи, как ей хотелось отдохнуть наконец от всей этой скрытности, иметь приличный дом, в котором хватит места всем четверым детям, прислугу и, может, даже собственный автомобиль. Эдвард так и не сказал жене о своих намерениях, а без этого она никак не могла успокоиться, хоть и знала, что подгонять его бесполезно. Вместе с тем она всем сердцем тревожилась за брата, который, проведя четыре года в аду, вернулся, похоже, совсем неприспособленным к мирной жизни. Всю свою жизнь он служил в армии, которая теперь, после продолжительного отпуска, отказалась от него совсем. За несколько недель с тех пор, как он вернулся, Диана успела понять, насколько он слаб здоровьем: приступы малярии и какого-то непонятного расстройства пищеварения периодически возобновлялись и изнуряли его. И хоть об этом Джон не распространялся, она чувствовала, как он одинок и совершенно сбит с толку. Вот если бы он был женат! Но он не был. Одна или две девушки, с которыми, как ей помнилось, он встречался до войны, не дождалась его, но теперь, когда повсюду вокруг избыток женщин, может, удастся подыскать ему жену. Умом он не блещет, однако он добрый и порядочный человек; с ним не то чтобы не соскучишься, но он будет заботиться о женщине, которая за него выйдет. Она понимала – ему так тоскливо, что следовало бы предложить переночевать у нее, но это будет означать, что Эдвард не сможет остаться. Или не будет означать ничего.

– А если его жена не даст ему развод? – Подумав немного, он продолжил: – Лично я бы не стал ее винить. Развод – это же *не то*, верно? Для себя я бы его не хотел.

– Ох, Джонни, не знаю! Эдвард, видимо, считает, что она согласится.

В дверь позвонили («Умничка, вспомнил, что у него якобы нет ключа»), и она, поднимаясь, чтобы открыть, предупредила:

– Только давай не будем заводить разговор об этом сегодня. Я просто хочу, чтобы вы с ним познакомились. Он угостит нас где-нибудь чудесным ужином. Мы все вместе хорошо проведем время.

Эдвард держался с ним на редкость обходительно: при желании он умел быть обаятельным как никто...

– Закажем бутылку шампанского – сегодня у меня день рождения, – сказал он, когда они отправились в «Плющ».

– Правда? Поздравляю, всех благ.

– Он всегда говорит, что у него день рождения, когда хочет шампанского, – объяснила она.

– То есть если не день рождения, шампанского не подадут?

– Ох, Джонни, ну конечно подадут. Это просто шутка.

– Шутка. – Он ненадолго задумался. – Виноват. Кажется, сути я так и не уловил.

– Он считает, что ему нужен повод, – объяснила она.

– И что любой повод лучше, чем ничего.

– А-а.

Эдвард заказал ужин: для них – устрицы, а для Джона – копченого лосося, куропаток, простой стейк на гриле, и шоколадный мусс – для них и для Джона. На стадии кофе и спиртного Джон спросил, нельзя ли ему фраппе с мятным ликером.

– В лагере мы вспоминали и его в том числе, – объяснил он. – Знаете, когда все садились в кружок и по очереди рассказывали, чем полакомятся сразу же, как только вернутся домой. –

Он помешал в своем бокале соломинкой. – В основном из-за льда – там стояла такая жарница, что лед казался дивом и роскошью.

– Как я вас понимаю, – откликнулся Эдвард. – Мы часто обсуждали горячие ванны в окопах.

– Откуда же возьмется горячая ванна в...

– Да нет, я хотел сказать, что мы мечтали о горячих ваннах, когда сидели в окопах на войне. И о чистых простынях и так далее, ну, вы понимаете. Конечно, – добавил он, – у меня все было иначе. Мне-то хоть изредка давали отпуск. А вам, беднягам, пришлось сидеть там безвылазно.

– Но на твоей войне погибло больше людей – верно, дорогой? – спросила она.

– Да кто его знает. Я читал, что на этой погибло пятьдесят пять миллионов.

– Говорят, от этих жутких атомных бомб до сих пор умирают люди, – сказала она.

Джон, который сидел между ними, во время этого разговора смотрел то на одного, то на другого, будто следил, как играют в теннис.

А потом и он сказал:

– Зато япошек заставили сдать, да? Иначе не знаю, сколько еще людей погибло бы.

– Но ведь это такая страшная смерть!

Она заметила, что мужчины мельком переглянулись и отвели взгляды, и это напоминало обмен неким невысказанным и невыразимым словами сообщением. Потом Эдвард сказал:

– Ну, по крайней мере, война *кончилась*, и слава богу. Можно обратить взор на что-нибудь повеселее – вроде этих чертовых докеров.

Тут и Джон удивился, что же тут веселого – как это что? Сорок три тысячи устроили забастовку, объяснил Эдвард, ну как же, подоходный налог. Кто бы мог подумать, что правительство социалистов снизит его, хотя, ей-богу, давно пора; очко в пользу мистера Долтона, с которым он однажды виделся в его бытность министром торговли, – славный малый, без претензий, таким он ему показался. И Эдвард почти задушевым тоном осведомился у Джона о его дальнейших планах.

– Пока что не думал. Все еще стараюсь привыкнуть к нормальной жизни. У меня отпуск на полгода, а потом придется что-нибудь подыскать.

– Так вы не остаетесь в армии?

– Я бы с радостью, но боюсь, я им не нужен.

– Вот досада! Еще порцию?

– Нет, спасибо. Одной мне достаточно.

– Премного благодарен за прекрасный ужин, – сказал Джон, когда они высаживали его у клуба. – Еще увидимся, – целуя ее в щеку, сказал он тоном, нерешительно колеблющимся между требованием и мольбой.

– Конечно, – ответила она.

Они смотрели, как он поднимается на крыльцо, поворачивается, чтобы помахать им, и входит в двери навстречу швейцару.

– Бедолага, – сказал Эдвард.

– Ты был так мил с ним.

Он положил ладонь ей на колено.

– А ему не слишком одиноко живет в клубе? Может, приютишь его в комнате мальчиков?

Она живо отозвалась:

– Да я подумала, что ему только в радость побыть одному – во всяком случае, на первых порах. Он говорил, что ему приходится ко многому привыкать.

Но она и смутилась (и рассердилась), уличенная в недостаточной щедрости, и приуныла, обнаружив, что он не думает о последствиях. Ему-то хорошо делать широкие жесты... Потом

она подумала, что он, возможно, *сразу* сообразил, что так они будут реже видеться, и испугалась. Разумеется, Эдвард понятия не имел о викторианских взглядах на развод, которых придерживался Джон, но меньше всего сейчас ей хотелось просвещать его.

– Как идут поиски дома? – спросила она, когда они вернулись в квартиру и он налил обоим по стаканчику на сон грядущий.

– Очень медленно. Беда в том, что в войну пострадало столько домов, что каждый приходится тщательно осматривать, а у малого, которого мне присоветовали, дел невпроворот. Пока один дом ждет инспекции, другой искать не хочется. Вилли нашла тот, что ей понравился, но оказалось, что он кишит сухой гнилью, которая расплодилась, потому что споры из разбомбленных зданий разнесло повсюду.

То есть он многословно и витиевато давал понять, что все осталось по-прежнему. Любопытно, как часто в последнее время они вели разговоры, сплошь состоящие из зашифрованных сообщений. Она больше не решалась просто спросить: «Ты уже сказал Вилли? Если нет, почему?» А с его стороны так же немыслимо было признаться: «Я стараюсь замять дело, потому что не в силах сказать ей». Вот она и спрашивала, как продвигаются поиски дома, а он рассказывал, как трудно найти подходящий. Временами кое-что говорилось открытым текстом – как в тот раз, когда она ударилась в слезы и сказала, что еще одной зимы в коттедже не переживет. Он был потрясен: оказывается, он совершенно не представлял, как она страдает от изоляции и холода. Вдобавок там царил страшная теснота, когда старшие мальчишки приезжали домой на летние каникулы, так что в конце концов ей пришлось сдаться – на неделю уехать к родителям Ангуса в Шотландию, где она и оставила Иэна и Фергуса до конца каникул – в сущности, там им было гораздо лучше. Но когда она сорвалась из-за коттеджа, Эдвард помог ей снять эту квартиру в особняке, и вдобавок она смогла позволить себе нанять Норму – девушку, которую она разыскала в провинции, любившую детей и мечтающую о Лондоне. Готовить ей все равно приходилось самой, чего она терпеть не могла, но дети питались просто, а сама она, замечая, с какой пугающей скоростью растет ее вес, старалась есть как можно меньше, кроме как в присутствии Эдварда.

– В постель?

Он положил ей на плечи тяжелую руку.

– Ты моя любимица, – сказал он.

– Очень на это надеюсь, дорогой. Иначе я бы так расстроилась.

Они тихонько прошли по длинному узкому коридору мимо детских комнат и комнаты, отведенной Норме. Все мирно спали. Норма знала, что Эдвард иногда остается на ночь; ей объяснили, что в конце концов они поженятся, к тому же недозволенный роман приводил ее в явный восторг. Она обожала Эдварда, который дарил ей чулки и не уставал повторять, что без нее они не справились бы.

Роман, думала Диана, снимая макияж, пока Эдвард в ванной, да, *она* романтическая натура; ей бы в голову не пришло связаться с тем, в кого она не влюблена всем сердцем. Вот только чувства защищенности ей хотелось все сильнее, чтобы знать, что с детьми ничего не случится, что есть чем оплачивать счета, а сочетать романтику с защищенностью удастся не всегда. Разумеется, не будь Эдвард женат, ей достались бы и романтика, и брак; тогда и Джонни мог бы жить с ними. Чувствовать себя эгоисткой она не желала, потому что, по большому счету, и не была ею; однажды Эдвард сказал, что такого бескорыстного человека, как она, никогда не встречал – если не считать его сестры. Она помнила, как ее обидела эта оговорка. Потому что однажды ей уже пришлось признать, что она способна на ревность – чувство, которое она презирала, считала неприемлемым для хорошего человека. Опять-таки, ей было известно, что по натуре она *вовсе* не ревнива, просто ситуация провоцировала ее на непрошенные чувства – к примеру, ведь должна же явная неспособность Эдварда объявить Вилли, что он уходит, иметь какое-то отношение к чувствам, а не только к мукам совести? А потом, эта его дочь

– старшая, которая замужем за Майклом Хэдли; ему так не терпелось познакомить Диану с Луизой, к которой, по его словам, он был очень привязан, и он рассказал ей, что дочь однажды видела их вдвоем в театре, страшно расстроилась, и с тех пор между ними все разладилось. «А если бы мы встретились втроем, наверняка все опять было бы в полном порядке», – объяснил он. Но заняться встречей всерьез он, похоже, побаивался. Как будто она должна стать неким *испытанием*, и то, что какая-то девчонка – которой всего-то двадцать два года – будет решать, подходит она ее отцу или нет, она воспринимала как свое унижение.

Диана успела раздеться и набросить темно-синюю атласную ночную сорочку, подарок Эдварда на день рождения. Ее вырез был узким, треугольным, из него вечно вываливалась то одна, то другая грудь. После кормления Сюзан они так и не обрели прежнюю форму. Эдвард сказал, что синий выбрал под цвет ее глаз, но цвет ночнушки на самом деле был павлиний, синий с зеленоватым отливом, а ее глаза имели синеvато-лиловый оттенок. Хотя бы *они* не изменились, но это постоянство лишь подчеркивало несовершенства, приходящие с возрастом. Кожа на руках выше локтя мало-помалу становилась дряблой, мелкие лопнувшие сосудики на щеках приходилось маскировать косметикой, появилось небольшое, но заметное обвисание на подбородке и шее, не такой свежей и гладкой, как прежде... Сколько еще будет утрачено того, что когда-то казалось само собой разумеющимся, задумалась она, и почти сразу же пришла мысль: «Появится ли у меня когда-нибудь ощущение, что я получила желаемое, или мои желания будут меняться постоянно, так что это ощущение не придет никогда?» Она хотела Эдварда и не получила его исключительно по его вине, так что он виноват и в том, что изменились ее причины хотеть его. Когда она была безмерно влюблена, любовь и несчастье никоим образом не умаляли ее представлений о себе или о нем: она считала его самым шикарным и желанным мужчиной из всех, кого знала, его простая и неизменная способность наслаждаться очаровала ее. В том, чтобы вот так плениться мужчиной, не было ничего постыдного, тем более что все его достоинства ясно дали ей понять, чего она лишалась долгие годы жизни с мужем. Эдвард не был ни снобом, ни транжирой; он тратил деньги с приятным размахом, однако прежде всего имел их, а не пользовался ими, чтобы произвести впечатление на людей за счет урезания домашних расходов. Ее иллюзии насчет Ангуса развеялись задолго до знакомства с Эдвардом. Но теперь она знала Эдварда уже больше восьми лет, в течение почти восьми была его любовницей и родила ему как минимум одного ребенка – Сюзан. А может, и двоих – если Джейми действительно от него – хотя она заметила, что у Джейми нос Макинтошей, но обращать на это внимание Эдварда не стала. Со временем она неизбежно узнавала об Эдварде все больше и обнаружила, что к его простоте прилагается нехватка воображения, когда дело касается других людей, что в его способности наслаждаться есть изрядная доля эгоизма и что он, похоже, не уделяет особого внимания тому, что происходит с ней в постели. Обычно все перечисленное ей удавалось оправдать, опровергнуть или проигнорировать. Да, мужчины – эгоисты, а с нехваткой воображения человек, пожалуй, ничего и не может поделать – он проявляет ее не нарочно, без умысла. Однако изъяном Эдварда, которым она не могла пренебречь, стало отсутствие у него того, что она называла нравственной отвагой. Он явно не желал, а может, и не мог высказать то, что причинит человеку неудобство. Сперва она называла это его душевной добротой, но когда эта черта начала сказываться на ее жизни, она уже больше не казалась доброй. Порой она боялась, что он никогда не отважится расстаться с Вилли, если она как-нибудь не заставит его. С каждой неделей она чувствовала, как ее уважение к нему улетучивается, в итоге и ее стремление выйти за него заслуживало все меньше уважения. Когда летом, в один из последних вечеров в коттедже, он объявил ей, что решил наконец поставить в известность Вилли, в приливе счастья и любви к нему она легко согласилась на условие: сначала он должен удобно устроить Вилли в каком-нибудь лондонском доме. Но с тех пор миновало несколько месяцев, и ничего не произошло и, судя по всему, не произойдет.

Она забралась в постель, и почти сразу после этого улегся он. Заниматься любовью она была не в настроении, но после всех намеков на равнодушие Вилли к сексу, как обычно, замаскировала свое нежелание тем исступленным пылом, который ему так нравился. «Милая!» – повторял он, пока не кончил. А потом, как всегда, спросил, все ли было хорошо. Немного погодя он высказался от полноты амурного довольства:

– Я тут подумал: а почему бы не пристроить в нашу компанию твоего брата? Жалованье не такое уж большое, но надо же начинать, а это хоть что-то.

– О, дорогой, это было бы замечательно! Он обрадуется, я знаю.

– Поговорю сначала с Хью. Может, место найдется в Саутгемптоне.

– Уверена, он будет только за!

– Только пока не говори ему, вдруг еще не выгорит. Сначала дождемся, когда отбастуют чертовы докеры.

– Не скажу, конечно. О, дорогой, как было бы здорово!

Она была благодарна ему вдвойне – за желание помочь ее брату и, возможно, даже больше – за способность внушать ей не только любовь, но и восхищение.

Через пару недель Эдвард объявил, что назначил вечер, когда она должна познакомиться с Луизой. Обязательно у него в клубе, продолжал он, там тише, – только не согласится ли она прийти около четверти девятого, не раньше, чтобы он успел сначала подготовить Луизу? Она придет одна, добавил он, об этом он попросил ее особо.

– Вот увидишь, вы полюбите друг друга, – повторил он дважды за время этого разговора, и она поняла, что, с его точки зрения, много чего поставлено на карту.

Одеваясь тем вечером, она вспомнила, как он раз или два намекал, что Вилли слишком строга с Луизой. Диана уже отвергла синевато-лиловый креп с открытым плечом, как, пожалуй, чересчур вульгарный и слишком уж напоминающий о содержанках, особенно неприязненному взгляду. Затем отложила в сторону черный муар с горловиной сердечком (к нему она собиралась надеть аметистовое ожерелье, подарок Эдварда) – оно опять-таки показывало ложбинку, а ей казалось, что это неверный тон, – и остановилась на старом-престаром черном шерстяном платье с длинными узкими рукавами и высоким «хомутом». Ей оно надоело хуже горькой редьки, зато выглядело довольно элегантно и без лишнего шика. По той же причине она вместо своей привычной цикламеновой помады накрасилась менее яркой розовой. Ее целью было выглядеть ухоженно, однако слегка по-матерински, то есть так, чтобы одним своим видом успокоить Луизу.

Она решила немного сэкономить и доехать на автобусе – точнее, на двух автобусах, так как у Мраморной арки следовало сделать пересадку. Но вечер выдался из тех тихих, сырых и промозглых, когда из-за безветрия и без того плотный туман сгущается еще сильнее. Ждать автобуса было ужасно холодно, но если бы она не выдержала и взяла такси, то приехала бы слишком рано. Пришлось ждать.

Однако от Мраморной арки она все же уехала на такси – еще раз подождав на холоде автобус, она поняла, что опоздает, если простоят еще хоть немного.

В клубе Эдварда – во всяком случае, в этом его клубе – она была лишь однажды и с годами была вынуждена признать, что ей, как любовнице, нельзя появляться на этой территории, негласно считающейся семейной. Она знала, что туда он водил Тедди до или после уроков, чтобы чем-нибудь угостить, там коротал тихие вечера с одним из братьев, там же, разумеется, бывал вместе с Вилли. Его наверняка знали все, и, если бы увидели вместе с женщиной, но не женой и не родственницей, поползли бы слухи. Все это было ей понятно, но тем не менее оставалось еще одним мелким источником раздражения. Видимо, сегодня Диане предстояло сыграть роль компаньонки.

Они обосновались в зале, где дамам разрешалось выпить вместе с членами клуба; в прилегающую столовую их пускали поужинать вместе. Тяжелые бархатные шторы были задер-

нуты, и кроме гигантской люстры мягко горели маленькие лампы под бумажными абажурами. Эдвард и Луиза сидели в глубоких креслах в дальнем углу комнаты, где устроились с напитками и другие посетители.

Завидев ее, Эдвард поднялся.

– А вот и ты, дорогая! – воскликнул он, как будто она опоздала, но он совершенно не собирался винить ее (она не опоздала – приехала точно как он сказал). Он поцеловал ее в щеку. – Луиза, это Диана.

Он щелкнул пальцами, и официант, сервировавший напитки в другом конце зала, сразу же откликнулся. Они обменялись настороженными улыбками с Луизой, которая, как ей пришлось признать, оказалась действительно довольно красивой – с длинными блестящими волосами, струящимися вокруг лица, с глазами, как у Эдварда, только брови гуще и темнее, а уголки губ загнуты вверх. Вырез ее черного шелкового платья был низким и круглым. Она отвела волосы от лица, и Диана увидела, что у нее на зависть высокие скулы, а в ушах серьги с опалами и бриллиантами.

– Мы пьем мартини – тебе подойдет, дорогая?

Но она так продрогла, что предпочла виски. Когда напитки были заказаны и ее усадили в третье массивное кресло, Эдвард заговорил:

– Я как раз вводил Луизу в курс дела. Она проявила удивительное понимание, ничего другого я от нее и не ожидал.

Диана снова улыбнулась, не зная, насколько далеко зашло «введение в курс». Тем вечером она этого так и не узнала, потому постаралась понравиться Луизе. Поначалу дело продвигалось медленно. По-видимому, Луизе не хотелось обсуждать ни своего знаменитого мужа, ни ребенка, и она отвечала на вопросы о том и другом легкой, отчужденной и снисходительной улыбкой, означающей паузу и новое начало. Диана восхитилась ее платьем – необычного фасона, с юбкой, плотно облегающей спереди и собранной сзади в маленький турнюр, со свободно повязанным поясом. Она была поразительно стройной, с тонкими детскими руками и красивыми длинными кистями (ее собственные, крупные и бесформенные, портили ее, как ничто другое; она всегда обращала внимание на женские руки).

– Я шила его на заказ, – объяснила Луиза. – Майкл привез шелк из Парижа, а я нашла в Сохо портного, мистера Перфекта. Он что угодно сошьет, надо только объяснить, чего хочешь. Жена у него огромная, затянутая в корсет от шеи чуть ли не до колен – с виду похожа на торпеду, но тоже очень милая. А серьги подарил мне папа. Он просто обожает покупать украшения – но вы, наверное, это знаете.

Она вдруг вспомнила, как уезжала с ним с Лэнсдаун-роуд на машине, когда вдруг шкапулка с украшениями Вилли упала ей на колени и открылась, и как ей при этом стало тошно от зависти. Этот поток мыслей прервала Луиза, которая, улыбаясь уже гораздо дружелюбнее, предложила дать ей адрес и телефон мистера Перфекта.

Эдвард ласково смотрел на обеих.

– Две мои любимицы, – произнес он.

Что наконец сломало лед, так это разговор о театре и обращенный к Луизе вопрос, в каких пьесах она играла. Луиза оживилась, принялась рассказывать про студенческий театр, про удивительный дом, где они жили, как все они ели один раз в день и как-то обходились, как ложились поперек дороги, чтобы утром их подвезли до театра – до него было мили три, и если на автобус не наскребали, приходилось тащиться пешком.

Эдвард воскликнул: господи, он понятия не имел, насколько у них все было по-спартански, а она повернулась к нему со словами: «Так ведь ты ни разу туда и не заглянул. Вы с мамой – единственные из родителей, кто не ходил к нам, даже когда мне досталась главная роль в «Граните», и Диана заметила, как это его задело. Он заерзал на стуле, замямлил, но Луиза продолжала:

– Видите ли, моя мать считала, что я должна заниматься тем, что имеет отношение к войне, и папа, конечно, соглашался с ней. Ну, по крайней мере, несогласия не выражал – так, папа?

По тому, как Луиза произнесла «моя мать», Диана догадалась, что отношения у них весьма натянутые. И сказала:

– Каждому так *хочется*, чтобы дети нашли себя в жизни, были счастливы и занимались тем, что им нравится. Но они зачастую *понятия* не имеют, что им нравится. А если вы настолько уверены, по-моему, это замечательно.

И Луиза – в сущности, еще ребенок – прямо-таки засветилась.

Она заговорила о современном лондонском театре. Смотрели новую пьесу Кауарда «Неугомонный дух»? Медиума в ней играет изумительная Маргарет Рутерфорд, а Кей Хэммонд божественна в роли духа. Эдвард сказал, что вот *она*-то ему по душе – она играла в жутко смешной пьеске под названием «Французский без слез». И была «прямо ух!», добавил он, а Диана заговорщицки переглянулась с Луизой, имея в виду, что мужчины путают «прямо ух!» с актерскими талантами. Эдвард пообещал сводить их на «Неугомонный дух», если они хотят. Похоже, он не возражал или вообще не замечал, что она объединилась с его дочерью против него, только радовался, что они поладили.

К тому времени, когда подали кофе и напитки, Луиза уже, по ее просьбе, называла ее Дианой и согласилась на второй бренди. Она так много пила до ужина, во время него и после, что Диана поразила ее стойкости. Как потом выяснилось, ошибочно. Дождавшись, когда Луиза уйдет в уборную, Эдвард поздравил ее:

– Дорогая, она тебя обожает. Ты взяла с ней как раз такой тон, как надо. Со мной-то о Шекспире, спектаклях и тому подобном не поговоришь.

– Так что же ты все-таки сказал ей?

– Ну, что ты для меня – единственная женщина в мире, как-то так.

– А про Сюзан?

– М-м... нет. К слову не пришлось. Объяснил только, что это продолжается уже давно. Она спросила, есть ли у тебя муж, и об этом я рассказал. – Чуть помедлив, он спросил: – Она ведь *нравится* тебе, дорогая?

– По-моему, она прелесть. И очень похожа на тебя.

– Скажешь тоже, – отозвался он, но был явно польщен. – Она считает, что, перед тем как я расскажу Вилли, будет лучше переселить ее в дом.

– Что, правда?

– Ну, когда я завел об этом речь, она согласилась.

«Это не одно и то же», – мысленно возразила она, но промолчала.

Официант подошел принять последний заказ на напитки, к тому времени они уже перешли в зал для дам, а Луиза не возвращалась. Она сказала, что сходит посмотреть, все ли с ней в порядке. Пришлось спрашивать дорогу у официанта, который объяснил, что наверх можно только членам клуба, и указал на дверь в глубине холла.

Она застала Луизу склонившейся над раковиной и плещущей в лицо холодной водой. Услышав, что кто-то вошел, она обернулась; ее лицо было белым и лоснилось от испарины.

– Лучше бы я к омарам даже не притрагивалась, – сказала она. – Надо было догадаться, что от них меня замутит.

Диана протянула ей полотенце.

– Ах вы бедняжка!

Но едва взяв полотенце, Луиза охнула: «Боже, опять!» – и бросилась в кабинку.

Пока она отсутствовала, Диана успела освежить макияж, прикинула, не сходить ли к Эдварду, чтобы предупредить, что они задержатся, и передумала.

– Спасибо, что подождали. Извините, это так отвратительно.

– Тяжко вам пришлось. Не повезло. – Она увидела отражение бледного лица Луизы в зеркале над раковиной и заметила, что ее глаза полны слез.

– Однажды я уже ела омаров, когда была беременна, – сказала она, – и тогда от них меня страшно тошнило. Глупо было вообще их пробовать.

Диана промолчала. В историю Луизы верилось с трудом, но она помнила, как в юности ее саму возмущало даже предположение, что она перепила.

– Боже мой, я как будто слегка позеленела.

– Если хотите, у меня есть румяна.

– О, спасибо. Тогда не придется объясняться с папой. И он не спросит, не жду ли я снова ребенка.

Только тогда Диану осенило, что причиной может оказаться беременность, а не спиртное.

– А вы его ждете?

– Ну уж *нет!* Ни в коем случае. Боже упаси!

Отложив румяна, она принялась яростно драть расческой мокрые спутанные пряди.

– Вы его любите?

Вопрос оказался таким настойчивым и неожиданным, что Диана оторопела и поймала себя на том, что разглядывает девушку в зеркало, а та отвечает ей неприкрыто и неудержимо любопытным взглядом.

– Да, – услышала она собственный ответ, а потом, с облегчением, что сумела выговорить это, добавила: – Да, люблю. Очень.

– Ну что же. Тогда действуйте. *Ничто* не должно вас разлучить.

Диана заметила, что у нее в глазах все еще стоят слезы – или навернулись опять.

Когда они вышли к Эдварду, он, кажется, не заметил ни то, как долго они отсутствовали, ни болезненный вид Луизы. По настоянию Дианы он довез Луизу до Эдвардс-сквер, прежде чем они отправились к себе.

* * *

– За меня не волнуйся. Со мной все будет в полном порядке.

Но когда такси отъезжало от коттеджа и она обернулась на сиденье, чтобы посмотреть на мать, которая, стоя у садовой калитки, махала ей на прощанье так, будто отгоняла мух, Зоуи уже не сомневалась: нет, не будет. Мод скончалась так внезапно, что ее мать до сих пор не пришла в себя. На остров Зоуи вызвала телеграмма: «Мод скончалась прошлой ночью. Скоропостижно. Мама». Сразу же после безуспешных попыток дозвониться до матери она собралась в дорогу. В Коттерс-Энд она обнаружила, что дом заперт, и когда уже искала, откуда бы позвонить Лоуренсам или Фенвикам, последние объявились сами: мисс Фенвик сидела за рулем побитого старого «Воксхолла», в котором пространство впереди почти полностью занимала миссис Фенвик. Сзади сидела мать Зоуи.

– Ага! – воскликнула мисс Фенвик. – Что я вам говорила? Я знала, что ваша дочь приедет.

– А мы как раз приехали проверить, все ли тут хорошо, – продолжала она, помогая миссис Хэдфорд выйти из машины. – И меня не покидало престранное чувство, что вы уже здесь. На редкость удачное совпадение, правда? – И с трагическими нотками, сменившими ее нестерпимую жизнерадостность, она объяснила Зоуи: – Для нее это ужасное потрясение. По-моему, от него она не оправится. Да-да, мама, уже иду. Вообще-то мама не хотела выходить из дома до обеда, но не могла же я бросить ее одну.

Мать Зоуи медленно обошла вокруг машины. Она была в старом пальто цвета верблюжьей шерсти и криво сидевшем черном тюрбане.

– А свои ключи вы взяли, Сисели? – окликнула мисс Фенвик из машины.

– Я думала, они у вас.

– Я положила их вам в сумочку, дорогая. Загляните, проверьте на всякий случай.

Миссис Хэдфорд рылась в своей жесткой глянцевитой сумке, когда та вдруг раскрылась. На мерзлую дорожку посыпались флаконы с таблетками, розовая расческа, ручное зеркальце и половина авторучки. «Ай-ай-ай!» Зоуи, идущая навстречу матери, чтобы поцеловать ее, наклонилась подобрать упавшее.

– Так вы нашли его, дорогая?

– Что?.. Ах да, ключ. – Снова порывшись в сумке, женщина вытащила кошелек из искусственной змеиной кожи на молнии. Пока она сражалась с застежкой, сумка пьяно болталась у нее на локте.

– Дай я. – Зоуи отобрала кошелек. Молнию заело, потому что в ней застряла подкладка, пришлось выдирать ее. В кошельке нашлась купюра в десять шиллингов и несколько шести-пенсовиков, но ключа не было.

– А, вспомнила. Я же положила его в карман пальто, чтобы был поближе.

Зоуи сложила обратно в сумку все, что высыпалось.

– Ваши ночные вещи я привезу попозже, когда уложу маму, – крикнула мисс Фенвик, и машина судорожным рывком тронулась с места.

– Надо было сказать ей, что это ни к чему. У меня есть другие, не хочу никого обременять.

Они прошли по дорожке к двери дома, которую мать не сумела отпереть.

– Ключ всегда был у Мод, – объяснила она, посторонившись и пропуская к двери Зоуи.

– Он открывается против часовой стрелки, мама, вот почему у тебя не вышло.

Внутри было сыро и тихо, как в доме, который бросили больше чем на сутки. И ужасно холодно.

– Пожалуй, нам лучше развести огонь, мама, а потом пообедать.

– Ты думаешь, дорогая? А Мод всегда разводила его только после чая.

– Разве тебе не холодно?

– Ну, так ведь погода холодная, дорогая, что тут такого.

Они прошли по коридору в маленькую гостиную. Две рюмки и графин с хересом стояли на шатком столике у окна, шторы были задернуты. Зоуи открыла их, и свет, которого слегка прибавилось, обнажил повсюду пыль, похожую на пепел. На кресле, где обычно сидела мать, лежало ее вязание. В камине было полно золы; на полке над камином рядом с рождественскими открытками, прислоненными к фарфоровым кроликам, и бутылками с разноцветным песком стояла ваза с увядшими хризантемами.

– Думаю, нам обеим не повредит выпить по рюмочке хереса. – Мать направилась к буфету с бокалами и чайными чашками. – Хорошо, что ты приехала, – добавила она, и ее глаза, уже припухшие от слез, снова наполнились влагой. Зоуи обеими руками обняла ее дряблое, негнущееся тело, и мать разразилась судорожными, подвывающими всхлипами. – Еще вчера утром с ней все было хорошо. На завтрак мы поджарили по кусочку хлеба, потому что кто-то подарил Мод жестянку грибов, и надо было доесть их, а то за один раз получилось бы слишком сытно. Потом она собиралась за покупками – она всегда ходила по вторникам – и заодно поменять в библиотеке мою книгу, да я оставила ее наверху. Она пошла за ней, не позволила мне принести ее самой. Я услышала грохот, думала, она упала, вышла и вижу – она лежит прямо вон там!

На миг у нее перехватило дыхание, она уткнулась лицом в носовой платок, который подала ей Зоуи.

– Я думала, у нее обморок, пошла за стаканом воды, но знаешь ведь, каково это, когда что-нибудь случается вдруг, – сначала никак не могла найти чистый стакан, потом надо было слить воду, потому что трубы здесь такие странные, и она всегда говорила сливать воду. А когда я к ней вернулась, то поняла... поняла, что она не дышит. И я ушла звонить врачу, потом вернулась и села на лестницу рядом с ней. Ох, Зоуи, какой это был шок и ужас!

Зоуи усадила ее в кресло и налила ей хересу.

– И что было дальше?

Ей казалось, матери станет легче, если она выговорится, расскажет все до конца.

– Я сняла с нее шляпку. – Она взглянула на дочь так, будто просила одобрения. – Это было как-то неправильно, что она лежит там в шляпке.

– Выпей хереса, мама, он тебе поможет.

До того как кончился херес – было всего по две рюмки на каждую, – Зоуи узнала, что приехал врач и сказал, что у Мод инфаркт. Он распорядился, чтобы тело увезли, и сам позвонил мисс Фенвик, которая приехала уже за *ней*.

– Понимаешь, они считали, что мне не стоит оставаться одной. Все были такими добрыми... такими заботливыми. – Утром мать вернулась сюда взять кое-какую одежду и посмотреть, все ли в порядке с кошкой. – И отправила тебе телеграмму – подумала, что тебя надо известить.

Зоуи развела огонь и ушла на кухню, поискать какой-нибудь еды. Они пообедали баночкой фасоли на гостах.

За следующие несколько дней до похорон она узнала: от врача – что состояние сердца у Мод было, как он выразился, «никудышным», «но она даже заикаться об этом запрещала – не хотела расстраивать вашу мать»; от адвоката из Райда, приезжавшего к ним, – что Мод завещала ее матери свой коттедж со всем содержимым, а также, по его словам, состояние в несколько тысяч фунтов: «Пенсию, конечно, после ее смерти выплачивать прекратят»; от матери – что она твердо намерена остаться в коттедже. Зоуи предложила было ей вернуться в Лондон, но мать ответила:

– Нет, дорогая. Здесь у меня *друзья*. Коттерс-Энд – мой *дом*. И я все-таки привыкла быть сама по себе.

Но за годы, проведенные с Мод, она размякла. Это Мод ходила за покупками и стряпала для них обеих, это она принимала решения, она водила машину – мать так и не научилась. Это Мод платила по счетам, договаривалась насчет ремонта в коттедже, возила вещи в починку и забирала в аптеке прописанные матери лекарства.

Несколько дней до похорон обе они разбирали одежду бедной Мод – добротные вещи, купленные в расчете на долгую службу и в большинстве своем служившие дольше, чем от них ожидали. Викарий сказал, что они пригодятся для распродажи на рождественском базаре, и мать, кажется, решила, что именно этого хотела бы Мод. В те дни матерью было высказано немало догадок насчет желаний Мод, и главной была та, что покойная хотела бы, чтобы она осталась в коттедже.

– Я точно знаю, поэтому она его мне и оставила, – твердила мать.

После похорон друзья еле вместились в тесную гостиную, чтобы выпить чай с сэндвичами и хересом, любезно пожертвованным полковником Лоуренсом. Его псу в итоге достались почти все сэндвичи – с мясными консервами и кабачково-имбирным джемом Мод.

Зоуи разговорилась с врачом о здоровье матери, которое, по его словам, было значительно лучше, чем у Мод. Лоуренсы и мисс Фенвик пообещали по очереди возить ее мать в город за покупками. Дорис Паттерсон, которая приходила раз в неделю делать всю черную работу в коттедже, предложила приходить дважды, и Зоуи считала, что ее мать могла бы себе это позволить. Все были добры и готовы помочь, но Зоуи, заметившая, как отстраненно мать наблюдала, пока сама она сражалась с готовкой и мытьем посуды, все равно беспокоилась. Она предложила потратить часть денег Мод (а может, и все целиком) на установку в коттедже центрального отопления, но мать категорически отказалась – она была уверена, что Мод этого не желала. «Она всегда говорила, что центральное отопление губительно для хорошей мебели». Вся эта «хорошая мебель» состояла из углового буфета с застекленными дверцами и комода в спальне Мод, но спорить не имело смысла.

Об этом и думала Зоуи неделю спустя, пока тряслась в местном такси, чтобы успеть сначала на поезд до парома, а потом на другой поезд – до Лондона.

В лондонском поезде, битком набитом в преддверии Рождества, на нее нахлынули воспоминания о встрече с Джеком. Тогда она считала себя несчастной – винила себя из-за матери, в отчаянии гадала, жив ли еще Руперт... а потом, откуда ни возьмись, появился Джек – чтобы преобразить всю ее жизнь, так тогда казалось.

Теперь же, хотя характер ее несчастья изменился – от прежнего в нем осталось лишь чувство вины перед матерью, – ей казалось, что уже ничто не явится неизвестно откуда и никакие преобразования попросту невозможны. Слишком уставшая, чтобы читать, она думала: разница в том, что до Джека в ее несчастье была некая *правильность*, ведь ее муж пропал и его считали (по крайней мере, она) погибшим. А теперь пропал Джек, и она до сих пор, по прошествии стольких месяцев, была не в силах надолго удерживать в сознании сам факт его смерти и то, как он умер. Всякий раз, когда она думала о нем – десятки раз днем и ночью, – в опаленном горем воображении всплывали одни и те же картины: его последний тоскливый день, как он пытался написать ей, как отказался от этих попыток и вместо этого написал Арчи (а если бы она не повела его к Арчи в тот вечер, теперь казавшийся таким далеким, кому еще он мог бы написать? и если никому, как бы она вообще узнала, что его больше нет?), как он возвращался на машине с какого-то аэродрома в ужасный лагерь, как нашел место, где мог побыть один в последние минуты своей жизни, прежде чем положить ей конец. Его поступок говорил об отваге и отчаянии таких масштабов, представлять которые ей было невыносимо.

Она вернулась в студию, чтобы забрать свою одежду и вернуть ключ агенту. Этого визита она страшно боялась, чуть было не передумала, но в конце концов сочла его необходимым. С пустым чемоданом она дотащила по темной пыльной лестнице наверх, решив пробыть там как можно меньше – сложить вещи и уйти. Но открыв дверь, она поняла, что он оставался в студии с тех пор, как они в последний раз побывали там вместе: постель смята, пепельница на столике рядом – полна окурков. Она прошла в крохотную кухню, чтобы открыть окно, и увидела в кофейнике засохшую кофейную гущу и перевернутую кружку на сушилке. Его халат висел за дверью ванной, в мыльнице лежало использованное бритвенное лезвие, по раковине бежала сероватая каемка от пены. Она коснулась этого следа пальцем и увидела обрезки темной щетины, оставшиеся после его бритья. Все эти вещи продолжали существовать.

Она вышла в студию, и тяжесть утраты обрушилась на нее холодной приливной волной, грозя утопить ее, лишит возможности дышать, и она, не удержавшись на ногах, упала на шаткий диван. На подушке еще сохранилась вмятина. Она уткнулась в нее лицом и зарыдала в голос.

Некоторое время спустя, наконец выплакавшись, она села и принялась укладывать вещи. В кармане его халата нашлась, как обычно, пачка «Лаки Страйк». Она выкурила одну, прежде чем выбросить остальные, но никаких чувств у нее не вызвал даже знакомый запах и привкус жженой карамели во рту. Самой себе она казалась легкой и пустой, и сухой, как увядший лист. Она закончила укладывать вещи, вымыла кофейник и пепельницы, почистила раковину, сложила постельное белье аккуратной стопкой, ушла из студии, которая вмещала всю их совместную жизнь, и вернула ключ агенту.

После этого факт его смерти перестал быть шоком, но мысли о том, как именно он умер, по-прежнему преследовали ее, и она никак не могла ни понять, ни принять, ни примириться с этим. Порой то, что он расстался с жизнью, казалось ей героическим жестом бесстрашной любви, а иногда – что тем самым он категорически отверг ее, никакой любви не испытывая. *Сложность* самого действия поражала и ужасала ее: как можно принять такое решение, а потом, прежде чем привести его в исполнение, жить еще несколько часов?

А после, самым обычным днем, когда Джульет вздумалось настоять на своем в ничемном споре – пойти через лес или нет, – она обернулась и увидела, что к ней идет Руперт. Она

думала, что он видение, призрак, протянула руку, чтобы коснуться его, отпугнуть, но когда он заговорил, совсем другой страх завладел ею, и она прибегла к Джульет как к спасению, стала наблюдать за *их* встречей – такой простой, как ей казалось, по сравнению с ее собственной встречей с ним. Джульет облегчила им задачу: они поиграли с ней, и только когда он снимал ее саму с дерева, стало ясно, что и он видит, как Зоуи смущена и взвинчена. Всю дорогу домой она болтала о родных, споткнувшись, только когда дошла до Арчи, потому что вспомнила, как по-доброму он отнесся к Джеку, и сразу умолкла... Наедине они не оставались до тех пор, пока не кончился ужин. Она пыталась шить платье для Джульет, он говорил о Пипетте и матери Зоуи. Потом пытался что-то сказать о том, как его не было дома и каково пришлось ей, и ее потрясло собственное смятение и чувство вины – захотелось сбежать, и тут же стало стыдно, что она, отговариваясь тем, что потрясена его внезапным появлением (хоть какая-то правда), не оказала ему радушный прием.

Она разделась в ванной и, пока закалывала волосы, зацепилась взглядом за бирюзовое сердечко в ямочке у основания шеи. Подарок Джека для Джульет. Она берегла его, чтобы отдать Джульет, когда дочь станет постарше, но когда узнала от Арчи, что Джека больше нет, повесила на старую цепочку и с тех пор носила не снимая – наподобие талисмана или знака траура, она сама не знала, которое из двух. Расстегнув цепочку, она убрала ее с глаз долой, потом легла в постель и застыла неподвижно, ожидая его. Но когда он просто поцеловал ее в щеку и погасил свет, ей внезапно и остро захотелось повернуться к нему, рассказать обо всем, что было с Джеком, выплакаться в его объятиях и получить отпущение грехов. Но она удержалась. Раньше, думала она, эгоизм и поглощенность собственной болью не дали бы ей даже задуматься о том, каково будет ему. Много позднее, не в ту ночь, ей стало ясно: рассказать про Джека – значит оставить его еще дальше в прошлом, а к этому она пока не готова. Возвращение Руперта не только помешало ей горевать, но и внушило чувство вины за это.

В последующие недели она порой гадала, уловил Руперт что-то или нет. Бесспорно, он казался другим человеком – держался замкнуто, нерешительно, почти виновато. Он устал, говорил он, и столько еще всего, к чему придется привыкать – «жизнь так изменилась», хотя и не уточнял, по сравнению с чем.

По предложению Дюши они съездили на выходные в Брайтон – уже после того, как Руперта демобилизовали с флота, в августе. Она так и не поняла толком, почему выбрали именно Брайтон. Дюши предложила его, Руперт повернулся к Зоуи и спросил: «Ты как, не против?» Она ответила, что нет. Безразличие к поездке тревожило ее; собственная роль в ней заставляла чувствовать вину (самое меньшее, что она могла, – согласиться, что бы ей ни предложили), но когда стало ясно, что по каким-то неизвестным ей причинам почти то же самое чувствует и Руперт, Зоуи стало страшно. Как им вести себя, гадала она, о чем говорить? Да еще эта постель, в которую придется лечь вместе, не зная наверняка, займется он с ней любовью или только попытается заняться – и то и другое случалось редко, но оставляло ощущение встречи с едва знакомым и совершенно голым человеком, притворяющимся, будто в этом нет ничего из ряда вон выходящего. В притворстве было все дело. Она притворялась, будто испытывает те чувства, которые, как ей казалось, он хотел вызвать у нее; странно, но она считала себя в ответе за их интимную близость, чего в прежние времена никогда не случалось, и вместе с тем ощущала свою *ответственность* перед Джеком – действовать механически не значило изменять ему, а наслаждаться этими действиями было бы в какой-то мере низостью. Однажды ей представилось, как кто-то рассказывает о ней с Джеком – один мужчина другому, – и когда рассказчик доходит до момента смерти Джека, слушатель, выдержав приличную паузу, спрашивает: «А что стало с девчонкой?» – «С ней-то? Да *она* просто вернулась к мужу как ни в чем не бывало». И улыбки умудренного жизнью презрения к такому пустому, бездушному существу появлялись на их лицах.

Джек в своем письме к Арчи спрашивал: «Может, этот ее муж вернется к ней?» – значит, наверняка представлял себе что-то подобное. И вот теперь муж сидел напротив нее в поезде до Брайтона – добрый и мягкий человек, сильно постаревший внешне, исхудавший, словно действительно много чего пережил за эти четыре нескончаемых года. Но теперь он уже не казался намного старше ее, как когда они только поженились и ей было чуть за двадцать. Он всегда будет на двенадцать лет старше, но в свои тридцать самой себе она казалась старой, слишком старой, чтобы разница в возрасте хоть что-нибудь значила.

Он отвлекся от своей газеты и поймал ее взгляд.

– Красивые у тебя волосы.

Ей вспомнилось, как – еще в первые годы их брака, когда она ревновала его к детям, и их мать, покойная Изобел, виделась ей особенно страшной угрозой, потому что он никогда не упоминал о ней, – он уговаривал или успокаивал Зоуи, восхищаясь ее внешностью, что она оценила, только лишившись этих комплиментов, и как ей хотелось тогда, чтобы он восхищался чем-нибудь другим – ее умом, ее характером, всем тем в ней, что сейчас она уже перестала считать ценным.

Она улыбнулась ему и промолчала.

Отель был огромный – с красным деревом, бордовыми коврами, бесконечными тускло освещенными коридорами и стариками-коридорными, похожими в своих жилетах на ос. Носильщик с чемоданами в руках остановился перед дверью рядом с пожарной лестницей, кряхтя, повозился с ключом и показал им номер. Она сразу заметила, что кровать в нем хоть и двуспальная, но узкая, а сквозь тюлевые занавески виден ряд окон противоположного крыла отеля.

Руперт сказал:

– Я просил комнату с видом на море.

– Насчет этого ничего не знаю, сэр. Звоните вниз, администратору.

Так он и сделал. После недолгих препирательств им предложили номер двумя этажами выше и отправили навстречу в лифте посыльного с новым ключом.

В новом номере кроватей оказалось две. Будто бы не заметив этого, Руперт дал коридорному полкроны и направился напрямиком к окну.

– Так-то лучше – верно, дорогая?

Она подошла к нему, чтобы взглянуть на море, тяжело бьющееся о каменистый берег и похожее на закате на расплавленный свинец, с чернеющим вдалеке волнорезом и пирсом на паучьих лапах свай. Небо расчертили полосами облака оттенков абрикоса и фиалки.

Он обнял ее за плечи.

– Мы славно проведем время, – сказал он. – Ты заслужила отпуск. Закажем бутылочку шампанского прямо сюда?

Да, согласилась она, это было бы чудесно.

Он повернулся к телефону и заметил две кровати.

– Вот ведь! Даже не предупредили – отчитать их снова?

Но она сказала, что не надо. Кровати можно сдвинуть – еще одного переселения она бы не выдержала. Он как будто вздохнул с облегчением, а может, ей только показалось, и она со стыдом вспомнила, как раньше закатывала сцены, чуть что было не по ней. Она сказала, что разберет вещи и сходит в ванную, он ответил: отлично, тогда он пока пройдет по берегу и через полчаса вернется с шампанским.

В тот первый вечер, когда оба слишком много выпили – бутылку бургундского после шампанского, а потом еще бренди с сероватым гостиничным кофе, – он сказал:

– Зоуи, нам обязательно надо поговорить.

Ужас и где-то глубоко под ним облегчение, или что-то наподобие этой комбинации, захватили ее. Он узнал про Джека. Или *захотел* узнать? Во всяком случае, если он *спросит*, ей

придется рассказать ему, а это совсем не то, что признаться самой – разница между честностью и намеренным причинением боли. Она допила бренди и потянулась за его сигаретами.

– Ты же никогда раньше не курила!

– Да я по случаю. На самом деле я не курю.

«И не изменяю», – мысленно добавила она. Нельзя изменять тому, кого считаешь погибшим. Она имела в виду Руперта, но потом сообразила, что в равной степени это относится и к Джеку.

Он поднес ей огонек и закурил сам.

– Я насчет дома, например. Как думаешь, оставить его или лучше поискать другой, поближе к парку? Или квартиру. Не думаю, что бедной старушке Эллен по силам все эти лестницы в Брук-Грин. Эдвард хочет, чтобы я взял на себя управление в Саутгемптоне. Я уже объяснил ему, что у меня нет ни малейшего желания, но если ты хочешь жить за городом, я готов взяться. А Хью – тебе надо знать все наши возможности – говорил, что будет только рад, если мы пожелаем поселиться у него. По-моему, отчасти он предложил это, потому что думал об Уиллсе и о том, как он обрадуется, если под той же крышей поселится Эллен. Я не жду, что ты согласишься, просто решил, что ты должна знать все, что нам предлагают.

Снова облегчение, на этот раз вперемешку с досадой – обычное дело, когда тебя сначала напугали, и паническая отвага была потрачена впустую. Оказалось, храбриться незачем, и она снова стала покладистой.

– А что предпочел бы ты?

Но он, естественно, не знал: в решениях он никогда не был силен. Она понимала, что, если выскажется в поддержку любого плана, он согласится с ним, но думала лишь о том, чего ей не хотелось. Не хотелось терять Эллен, не хотелось возвращаться в Брук-Грин, в дом, который она всегда считала унылым, и вообще он когда-то принадлежал Изобел, но потом...

Остаток вечера они провели за вежливым и бесплодным разговором.

Ночью она проснулась, и ее вдруг осенило: возможно, Руперт настолько нерешителен потому, что *он-то* не хочет ничего. Может, теперь ему стоило бы вернуться к живописи и преподаванию или к одному только преподаванию, и поскольку денег у них убавится, ей придется подыскать себе какую-нибудь работу – значит, будет чем заполнить жизнь. Они могли бы переселиться во Францию вместе с Арчи. Жизнь новехонькая, как с иголки: в ночи это казалось верным решением.

Но когда Зоуи предложила это мужу, он как будто ужаснулся.

– Ну уж нет! Это вряд ли. По-моему, даже думать о таком поздновато.

– Но ты ведь часто говорил, как любишь Францию...

– Францию? При чем тут Франция?

– Я думала, рисовать там тебе особенно нравится...

Но он холодно перебил:

– У меня нет ни малейшего желания жить во Франции.

Воцарилось почти обиженное молчание.

– Это... это потому, что там тебе пришлось так скверно?

– Нет. Ну... отчасти. Просто не хочу.

Они погуляли по берегу, но галька больно впивалась ей в ступни, и они сели спинами к волнорезу. Руперт снова умолк, Зоуи повернулась к нему и увидела, что он неотрывно смотрит на море, погруженный в свои мысли, отчужденный. Кадык дернулся – он сглотнул, будто хотел избавиться от чего-то болезненного.

– Может, станет легче, если расскажешь мне?

– Расскажу тебе что?

– Что с тобой случилось. *Каково* это было. Я про то, почему ты не вернулся домой сразу после «Дня Д». Почему так долго? Тебя держали в каком-то *плену*?

– Нет... не то чтобы. Ну, в каком-то смысле да. Это было в захолустье... на ферме... – Помолчав, он быстро заговорил: – Они так долго прятали меня, заботились обо мне, хотя подвергали себя опасности, а там трудоспособные мужчины были в страшном дефиците. Вот я и решил задержаться, чтобы немного помочь – ну, знаешь, со сбором урожая и так далее.

Спустя мгновение она воскликнула:

– Но урожай собирают осенью!

– Ради всего святого, Зоуи, прекрати *цепляться* к словам! Я пообещал задержаться подольше – и задержался. Устроит?

Ею овладели негодование и гнев, каких она за собой не помнила.

– Нет, не устроит. Ты мог бы хотя бы прислать весточку, написать. Как думаешь, каково было твоей матери? А Клэри? А мне? Союзники уже высадились, а от тебя ни слуху ни духу, вот мы и решили, что ты *наверняка* погиб. Ты заставил страдать всех, хотя в этом не было необходимости. Неужели ты не понимаешь, какой это вопиющий эгоизм?

Он не ответил, только с единственным прерывистым всхлипом уронил голову на ладони. Но прежде чем она успела опомниться, он отвел руки от лица и посмотрел на нее.

– Я *все* понимаю. *Все* вижу. И сейчас уже ничего не могу поделать. Мне нет оправдания – это была просто другая жизнь, иные беды и трудности. Могу сказать лишь одно: каким бы безумием ты это ни сочла, в то время поступок казался правильным. Я не рассчитываю, что ты меня поймешь. Но мне очень жаль... и стыдно, что я причинил вам столько страданий.

Он силился улыбнуться, в глазах стояли слезы. Обнять его и поцеловать в лицо оказалось очень легко. Остаток выходных прошел без каких-либо эмоциональных потрясений: они были милы друг с другом, закончили прогулку, пообедали в плохоньком ресторане, сходили в кино, побродили по лавкам букинистов, ужинали в отеле и решили отказаться от дома в Брук-Грин, но дальше этого не продвинулись. «Ты ведь знаешь, как мне даются решения, – сказал он. – Одного вполне достаточно». И все это время они относились друг к другу с осторожностью. Она с облегчением убедилась, что ему, похоже, от нее больше ничего не нужно, вдобавок весь день время от времени замечала – в лавке букиниста, где он откопал для нее первое издание Кэтрин Мэнсфилд, которым она была рада обзавестись, во время длинного разговора о том, разрешить ли Джульет щенка, ее заветную мечту, – что часы идут, а про Джека она не вспоминает.

В понедельник они вернулись в Лондон, он остался там, а она уехала обратно в Хоум-Плейс.

Дюши встретила ее ласково.

– Ты выглядишь *немного* отдохнувшей, – заметила она, и тут вмешались Джульет и Уиллс, с грохотом спустившиеся с лестницы.

– Мама! Пока тебя не было, Уиллс ходил во сне! Прямо во сне спустился с лестницы и зашел в столовую! Его уложили в постель, а утром он сказал, что вообще не помнит, как вставал ночью! А на следующую ночь я ходила во сне, только чуть не упала, потому что ну как же спуститься по лестнице, если глаза у тебя закрыты, а меня уложили в постель, и я все прекрасно помню. А Уиллс сказал, что я ходила во сне не по-настоящему – когда ходишь во сне, глаза открыты! Но ведь так не бывает, правда? Уж если я хожу во сне, то с закрытыми глазами. Вот прямо так и хожу.

– Она просто притворяется, – заявил Уиллс. – А по-настоящему не ходит – для этого слишком мала еще.

– Ни для чего я не мала! Хоть с виду и не скажешь, но внутри я старше, чем снаружи. Как ты, мама. Эллен говорит, что ты старше своих лет.

– Ха. Ха. Ха, – раздельно произнес Уиллс. – Показать тебе мой зуб?

– Очень ей нужно смотреть. Я видела его – ничего интересного. Знаешь, что нам рассказывала Дюши? Когда в детстве у нее качался зуб, к нему привязывали один конец нитки,

другой – к дверной ручке, а потом хлопали дверью, и зуб прямо сам выскакивал, а ей тогда давали пенни за смелость.

– Если бы такое сделали со мной, я запросил бы гораздо больше, – заявил Уиллс, и Зоуи сказала, что согласна с ним.

– Ну, мама! Не соглашайся с Уиллсом, лучше со *мною*! Она же *моя* мама! – Она обхватила обеими руками ноги Зоуи и с вызовом уставилась на Уиллса, лицо которого, как заметила Зоуи, вдруг стало непроницаемым.

– Я твой чемодан отнесу, тетя Зоуи, – сказал он.

Через несколько дней ей как-то довелось остаться наедине с Дюши. Они закончили собирать зеленый горошек – делать это приходилось каждые два-три дня – и присели отдохнуть на скамейку у теннисного корта. Дюши извлекла сигарету из портсигара шагреновой кожи и собиралась положить его обратно в карман кардигана.

– Можно и мне одну?

– Ну конечно, дорогая моя. А я и не знала, что ты куришь.

– Вообще-то нет. Так, покуриваю изредка.

И она умолкла, потому что не знала, с чего начать. Только смотрела в спокойное, открытое лицо свекрови. Говорят, такие отношения строятся с трудом, но она не испытывала к Дюши никаких чувств, кроме глубокой признательности – за неизменную, пронизательную доброту с самого начала, когда Руперт привел в эту семью ее, избалованную, себялюбивую девчонку, и потом, пока ее мучали угрызения совести и депрессия после смерти первого ребенка, и дальше, все годы войны, когда пропал Руперт. Это Дюши посоветовала ей поработать в санатории для выздоравливающих в Милл-Фарм, это Дюши никогда не осуждала ее за неумение справиться с Клэри и Невиллом. Но самое главное – хотя Дюши точно знала, что в Лондон она навевается так часто, потому что у нее есть любовник, а потом и выяснила, что это Джек, – она ни разу не уличила Зоуи в этом тогда и не выдала потом. Об этом Зоуи, неожиданно для самой себя, и попыталась сказать сейчас.

– Вы всегда были так добры ко мне, даже поначалу, когда я, наверное, выглядела до ужаса эгоистичной и безответственной.

– Дорогая моя, ты была просто очень молода. Ты вышла замуж, будучи всего годом старше меня к моменту моего замужества. – Помолчав, она продолжила: – Мне было нелегко приспособить свои романтические взгляды к действительности. Мужьям не свойственно всю жизнь проводить стоя на коленях перед своей единственной и задаривая ее цветами, но в мое время головы у девушек были забиты глупостями такого рода – в каждом романе, который мы читали, их насчитывалось полным-полно, и родители никому не объясняли, что такое на самом деле брак и материнство. Люди не считали необходимым или хотя бы желательным извещать молодежь о том, что ждет ее впереди.

Когда Дюши сменила позу, чтобы сесть к ней лицом, Зоуи вдруг стало страшно, что вот сейчас-то наконец и начнутся обвинения и ей придется поплатиться за высокое мнение о своей свекрови, но та заговорила о другом:

– Я всегда считала, что тебе нелегко было унаследовать от предшественницы двоих детей, особенно Клэри, которая так тосковала по родной матери. А потом еще трагедия с первым малышом, и вдобавок долгая разлука с Рупертом, да еще с этим оттенком горькой неизвестности. По-моему, ты держалась неплохо, даже очень.

При упоминании о первом ребенке и его смерти на ее лице проступил румянец. Она думала, что краткую связь с врачом ее матери, ее унижительный исход и страшные последствия ей удалось почти полностью изгнать из памяти. Но теперь стало ясно, что все это так и осталось громоздиться айсбергом на ее совести; и к ней вдруг пришла мысль: хоть она и не в состоянии заставить себя признаться насчет Филипа, пожалуй, ей удастся рассказать Руперту про Джека. И рядом как раз оказалась Дюши – мудрая, добрая, неожиданно понимающая, как

нельзя лучше подходящая на роль советчицы в таком чреватом катастрофой и деликатном вопросе.

И она спросила у нее.

– О нет, моя дорогая! Нет-нет! Пойми, я ни в коем случае не виню тебя за то, что было между тобой и этим несчастным юношей, но отчасти твоя ответственность теперь в том и состоит, чтобы оставить пережитое при себе. Не обременяй им своего мужа.

Дюши взяла ее за руки, сжала в своих и, не отпуская, заглянула ей в глаза.

– Но если... – Зоуи медлила, опасаясь наговорить лишнего. – Он... Руперт... несчастен? Ему... по-моему, ему тяжело оттого, что он не сообщил нам, что жив, хотя мог бы. Он не захотел говорить об этом, но если я признаюсь первой, может, тогда ему будет легче решиться...

Вспоминая об этом разговоре потом, она так и не смогла решить, почудилось ей это или нет, но пристальный взгляд дрогнул, на искренность набежала тень, но тут же рассеялась, прежде чем она успела убедиться, что действительно видела ее.

– Мне думается, – заговорила Дюши, – тебе не следует пытаться расспрашивать его о Франции. Предоставь решать ему самому. Если он захочет поговорить об этом, он так и сделает. – Она наклонилась и подняла свою корзину с горошком. – Вас еще многое ждет впереди. И я советую тебе не забывать об этом. – Она слегка пожала ее руку. – Ведь ты сама *спросила*.

Она и впрямь спросила, и получила совет, и приняла его к сведению.

Осенью дом в Брук-Грин выставили на продажу, но в Лондоне продавалось множество домов разной степени запущенности, и поскольку до продажи прежнего дома приобрести новый они не могли, то переселились к Хью, который с радостью принял их.

В целом все устроилось прекрасно, хотя она так и не поняла почему: то ли потому, что все знали – это лишь временно, то ли она так привыкла жить вместе с родными, что продолжать в том же духе не составило труда. Дети казались довольными: Уиллис – потому что из-за переселения было решено отложить его поступление в подготовительную школу-интернат, а Джульет – потому что обожала свои утренние занятия и сразу же окунулась в вихрь светской жизни с бесконечными чаепитиями и днями рождения у только что обретенных подружек. Эллен, поселившаяся в дальней комнате цокольного этажа, которую Хью обставил для нее, справлялась почти со всей стряпней и будто ожила, убедившись, что день-деньской бегать туда-сюда по лестницам ей не придется. Дети съедали свои обеды в кухне; Эллен по-прежнему стирала, гладила и чинила одежду для всех, но детей по утрам будила Зоуи, и она же проверяла, как они вымылись после ужина. Хью настоял, чтобы его спальню заняли они с Рупертом, и два вечера в неделю проводил в своем клубе, чтобы дать им возможность побыть вдвоем. Миссис Даунс, крупная меланхоличная особа, которая, к удовольствию Руперта, считала себя громоздким, но ранимым созданием, теперь приходила по утрам четыре раза в неделю, чтобы навести порядок в доме. Она принадлежала к тому типу людей, которые видят только темную сторону любых событий и с завидным, даже каким-то радостным, энтузиазмом доводят ее до абсурда. Когда закончилась война, миссис Даунс, по словам Хью, заявила: «Ну что ж! Теперь, видимо, будем ждать следующей. Хорошего понемножку». А когда генерала Паттона парализовало после страшного столкновения с грузовиком во Франкфурте и вскоре он умер, заметила, что та же участь в конце концов ждет всех нас – «надо только погодить». Руперт завел привычку зачитывать вслух отрывки из утренних газет, дополняя их комментариями в духе миссис Даунс. В семейной жизни с общими трапезами и прочим Руперт понемногу становился похожим на себя прежнего, лишь наедине с ней вел себя скованно. Но он был неизменно мил, советовался с ней, считался с ее желаниями во всем, что касалось их обоих – какие пьесы и фильмы посмотреть, в какие рестораны после этого зайти, спрашивал, понравились ли ей выбранные блюда, позднее вечером выражал готовность сходить на танцы (этого ей никогда не хотелось). В постели они пришли к своего рода заговорщицкому спокойствию: если и говорили, то приглушенными голосами, словно боялись, что их подслушают, как будто они вопреки

запретам вторглись на неизвестную территорию. Эти разговоры сводились главным образом к вопросам об удовольствии друг друга и вежливым уверениям. Она старалась порадовать его, и он говорил, что ей это удастся; он спрашивал, хорошо ли ей было, и она отвечала прямо или намеками, прибегая к несущественной оберегающей лжи.

Когда пришла телеграмма от ее матери, он сказал:

– Если ты считаешь, что твоей матери будет лучше приехать и жить с нами, ты ведь знаешь, я буду рад видеть ее. Я знаю, дорогая, ты считаешь, что с ней трудно, но сама по себе она не справится, и я уверен, мы что-нибудь придумаем.

Ну что ж, думала она, стоя на заледенелом вокзале в очереди на такси, по крайней мере, им, похоже, пока не придется брать к себе ее мать, и это к лучшему, потому что, помимо всего прочего, в доме Хью для нее попросту нет отдельной комнаты.

Уже в такси, думая, что матери ведь всего пятьдесят пять, она вдруг осознала, что через двадцать пять лет сама окажется в том же возрасте. Неужели и она превратится в постоянный источник раздражения и досады для своей дочери? Неужели к этому и сводится вся жизнь? Ей тридцать, а она еще ничего не сделала, кроме как вышла за Руперта, родила ему ребенка и влюбилась в другого. Этого недостаточно. Надо бы поискать и найти, чем заняться или стать, чтобы не ограничиваться уже сделанным, чтобы и у нее появилась собственная жизнь и увлекла ее. Она понятия не имела, что бы это могло быть, и задумалась, взбудораженная этими размышлениями, можно ли искать то, чего совсем не знаешь.

* * *

– Ты же всегда говорила, что тебе нравятся дома, обращенные на восток и запад.

– Помню, но со стороны сада будет солнечно.

– Да, вот только с другой стороны дома не будет. Потому что она выходит строго на север.

Когда Вилли уже начинала жалеть, что попросила Джессику сопровождать ее на осмотре дома (она, похоже, была не в настроении, впрочем, стояли *адские* холода), явился агент.

– Прошу прощения, миссис... Казалет, верно? У меня не завелась машина.

Он порылся в карманах шинели из тех, которые армия реализовала как излишки имущества, и вытащил гигантскую связку ключей с замусоленными ярлыками. Агент был сильно простужен.

– Вот так... – Он вставил ключ в замок псевдоготической двери, за которой открылся неожиданно просторный темный холл. Агент включил свет – голая лампочка, свисавшая на проводе с середины оштукатуренного потолка, осветила еще несколько дверей, очень похожих на ту, через которую они только что вошли.

– У этого дома полно достоинств, – сказал агент. – Техническое описание у вас с собой, миссис Казалет? Если нет, у меня есть копия. – Он чихнул и вытер нос насквозь промокшим платком.

– У меня с собой, но я бы лучше сначала осмотрелась.

– Конечно. Итак, я просто проведу вас по дому, а потом у вас будет возможность походить здесь одним. – Он зашагал через холл к дальней двери. – Это большая гостиная. Как вы уже видите, – продолжил он, прежде чем они успели что-либо увидеть, – это обращенная точно на юг комната с эффектными готическими окнами, выходящими в сад, и застекленной дверью, открывающейся туда же. Имеется также открытый камин, отделанный плиткой, и паркетный пол.

«Довольно большая комната», – подумала она. Вилли поделилась этим наблюдением с Джессикой и услышала, что комната лишь кажется больше, чем на самом деле, из-за очень низких потолков.

Агент сказал: если они не против, он быстренько покажет им все остальное, а потом они смогут осматривать его сами не торопясь, сколько пожелают. У него назначен еще один показ, дом в Белсайз-парке – в отсутствие машины до него крайне неудобно добираться.

– Нисколько не сомневаюсь, дамы, что вам можно доверить ключи, чтобы вы потом заперли дом и завезли их нам.

Остальной дом представлял собой еще одну такую же просторную, но темную комнату, маленькую кухню на нижнем этаже, четыре спальни – две больших и две поменьше – и ванную наверху.

Она сказала, что хотела бы осмотреть сад, и агент перед уходом достал еще один ключ.

– Сад можно осмотреть и через окно, – сказала Джессика.

– Хочу увидеть, как выглядит дом со стороны сада.

По толстому слою шуршащих под ногами листьев они прошли через маленький квадратный газон и обернулись, чтобы посмотреть на дом. Как и с фасада, с задней стороны его покрывала штукатурка с каменной крошкой, грязно-серая, неряшливая. Скаты крытой сланцевым шифером крыши сходились под острым углом, отчего казалось, что потолок в верхних комнатах должен быть скошенным, но нет, не был. Во всем доме ощущался некий дух рустикальной романтики, совершенно несвойственный, как ей казалось, лондонским особнякам, и она поняла, что хочет жить здесь. Обидно было видеть, что Джессика не разделяет ее воодушевление.

– Почему он тебе не нравится?

– Да я просто представить себе не могу, чтобы Эдвард согласился жить здесь. Это же просто разрекламированный *своеобразный*... – этому слову она придала неприятный оттенок, – ...*коттедж*!

– Вот это мне в нем и нравится. Только подумай, как с ним будет просто! Никаких жутких цоколей и подвалов, почти нет лестниц. А сад можно *привести* в симпатичный вид.

– И где же ты поселишь слуг?

– Дорогая, не будь такой старомодной. В моем доме слуги жить не будут. Я подыщу хорошую приходящую прислугу, а готовить буду сама. Ведь *ты* же давно к этому привыкла.

– Мне пришлось, а тебе незачем. Поверь, Вилли, тебе не захочется взваливать на себя всю стряпню.

– А почему бы и нет? Роли останется на мне, потому что Эллен уедет с Рупертом и Зоуи, так что я в любом случае буду привязана к дому. И с удовольствием займусь чем-нибудь полезным.

– М-да, – сказала Джессика уже в такси, пока они направлялись к ее дому в Пэрадайс-Уок. – Мне все-таки не верится, что Эдвард согласится жить там. Ему бы побольше комнат, чтобы устраивать званые ужины.

– Он разрешил мне выбирать именно то, чего хочется мне. А у него будет яхта, чтобы по выходным ходить под парусом. И у нас по-прежнему останется Хоум-Плейс, чтобы вывозить детей на отдых.

Через два дня она повезла его показывать тот маленький дом. Он заметил только, что в передних комнатах довольно темно, но, раз ей дом нравится, он готов купить его, если он успешно пройдет инспекцию. Так же мило, по ее мнению, он отнесся к ее планам поселить вместе с ними мисс Миллимент.

– Ужинать с нами она не будет, дорогой. Я устрою ее в большой передней комнате внизу, в остальное время, кроме ужина, она составит компанию за столом мне и Роли.

Он улыбнулся и ответил, что это будет замечательно. Инспекции дали ход, а тем временем подоспело и Рождество.

Война кончилась, но это Рождество все равно казалось последним из военных и мало чем отличалось от них. С продуктами легче не стало, хотя Арчи ухитрился раздобыть две полу-

тушки копченого лосося, но на двадцать едоков (Саймон привез университетского товарища, который не говорил ни о чем, кроме Моцарта) даже этого было слишком мало. Собрались все, кроме Луизы, которая проводила праздники в Хаттоне, и Тедди с невестой, еще не вернувшихся из Америки. Старших детей отселили в Милл-Фарм, под присмотр Рейчел и Сид, но всякий раз, кроме завтраков, все неизменно встречались за столом в Хоум-Плейс.

«Все такие же, какими были всегда, – думала Вилли, – только теперь это еще заметнее». У Брига неожиданно прорезались наклонности тирана в мелочах, на которые прежде он и внимания не обращал.

– Я не допущу, чтобы в моем доме умирало дерево, – заявил он, когда она втащила в холл елку, купленную в Батгле.

– Так не годится, дорогая, – сказала Дюши. – Придется эту убрать, а Макалпайну выкопать с корнями другую, в питомнике.

Она подумывала возразить, что Бриг все равно ничего не увидит, но, едва взглянув в лицо Дюши, поняла, что ни о каких уловках подобного рода не может быть и речи, и отдала елку в деревню. Потом вспыхнула размолвка по поводу рождественских чулок и тех, кто их заслужил. Она считала, что подарки должны получить дети, начиная с Лидии и младше, но когда объявила об этом за чаем, дети с ней не согласились.

– Я месяцами *думал о том*, как получу свой чулок, – сказал Невилл. – А если мне его не дадут, тогда дарите мне вместо настоящих подарков такие, как в чулках. Я просто не готов сразу взять и согласиться на такие лишения.

Клэри пренебрежительно взглянула на него.

– Те, кто ждет чулок, хоть давным-давно узнал, что Санта – это выдумка, просто помешан на материальных благах. Так много хотеть – это уже алчность.

– *Да ну?* А ты разве не хочешь? Я, между прочим, замечал, что кое-чего тебе очень даже хочется.

– Конечно, хочется – *кое-чего*. Но не так, чтобы добывать любой ценой.

Невилл сделал вид, будто задумался.

– Нет, – наконец высказался он. – Так не пойдет. Какой, скажи на милость, смысл вообще хотеть чего-нибудь, если тебе все равно, получишь ты это или нет?

– Я его понимаю, – вмешалась Лидия. – Мы в школе так делаем – спорим о всяких разностях и стараемся встать на чужую точку зрения. Мисс Смедли говорит, это чрезвычайно важно.

– Когда твой отец был еще ребенком, – сказала Дюши, – он от жадности однажды на Рождество повесил вместо чулка наволочку от подушки, думая, что Санта положит в нее больше подарков.

Уиллс с внезапно пробудившимся интересом вскинул голову.

– И что вышло?

– Утром он увидел, что наволочка полна угля. И ни единого подарка.

Это потрясло всех.

– Ой, бедный папочка!

– И что он сделал с этим углем? – спросил Уиллс.

– Не в этом дело. И ничего сделать с этим углем он не мог.

– Нет, мог, – восторженно воскликнул Невилл. – На его месте я бы продал его мерзнувшим беднякам, за него заплатили бы несколько фунтов. Или завернул бы каждый уголек отдельно и раздал, как рождественские подарки. Чтобы всех проучить. Только, пожалуйста, не надо вставать на мою точку зрения, – продолжил он, обращаясь к Лидии, как будто она уже вознамерилась. – Эта точка зрения *моя*, и я не желаю, чтобы *ты* на ней стояла.

– Дядя Эдвард после этого исправился? – спросил Уиллс.

– Ну, больше наволочку он не вешал никогда.

Потом Арчи, который до тех пор внимательно слушал, предложил, чтобы всех, кого предстоит вычеркнуть из «чулочного списка», предупреждали об этом заранее, не меньше чем за год, эта идея имела общий успех и была принята.

На протяжении всего Рождества – которое по-прежнему казалось Вилли последним, – пока она справлялась с потребностями разновозрастных родных, от двоюродной восьмидесятилетней бабушки Долли, то и дело мысленно возвращающейся в восьмидесятые годы девятнадцатого века, когда она была ребенком, до пятилетней Джульет, упорно живущей будущим, когда она вырастет – «у меня будет двенадцать детей, я буду держать их в постели и вынимать оттуда по одному, чтобы не *запачкались!*», и так далее, – она сознавала, что в действительности ее воодушевляет перспектива снова иметь собственный дом, где можно будет выбирать что захочется и где у нее будет возможность иногда побаловать себя уединением. Прошли годы с тех пор, как она в последний раз отдыхала: когда Эдвард обзаведется яхтой, они смогут провести на ней пару недель. Зоуи обещала присмотреть за Роли, а мисс Миллимент при наличии приходящей прислуги сумеет позаботиться о себе, в этом Вилли не сомневалась. Эту идею она подкинула Эдварду в Сочельник, когда они раздевались перед сном.

– Даже не знаю, – ответил он. – Яхту я пока не купил – пожалуй, подожду до весны. Все равно время пока неподходящее, чтобы ходить под парусом.

Он совсем не походил на прежнего добродушного Эдварда.

– Ну, ладно, – откликнулась она, – с домом еще предстоит масса хлопот. Я решила сама перекрасить его внутри. Как думаешь, хорошо будет смотреться гостиная со стенами бледного зеленовато-голубого оттенка?

– Господи, мне-то откуда знать? О таких вещах спрашивать меня бесполезно.

Она вдруг сообразила, что, едва разговор заходит о доме, он раздражается, и страшная мысль закралась ей в голову: хоть он и уверял, что дом ему нравится и что она должна выбирать на свой вкус, на самом деле переезд его пугает. В памяти всплыли слова Джессики.

– Дорогой, – заговорила она, – у меня такое чувство, что ты, может, не совсем доволен этим новым домом, просто складывается такое впечатление. Но тебе незачем скрывать это. Решение слишком важное, чтобы в случае хоть каких-то разногласий умалчивать о них. Я с удовольствием посмотрю другие дома, честное слово.

Пауза тянулась так долго, что она успела испугаться, решив, что угадала. Потом он ответил:

– Глупости. По-моему, выбор отличный. Не слишком большой дом, и все такое. Может, лучше устроим обход Санты?

И они, кутаясь в халаты, поочередно прокрались в комнаты младших детей с раздувшимися, чуть не лопающимися от подарков гольфами, которые пожертвовали для такого случая Хью и Эдвард, и под конец заглянули к Лидии, которая лежала, картинно зажмурившись.

– Она не спала.

– Да, было видно. Но лучше притвориться, что спала.

Ложась в постель, Вилли спросила:

– У тебя не возникает ощущения, что это Рождество – последнее? У меня – да.

– О чем ты?

– Ну, все мы живем здесь уже шесть лет, точнее, даже больше, а теперь вдруг собираемся разлететься кто куда. Да, на отдых мы снова соберемся вместе, но это будет уже не то.

– Не так уж вдруг, – возразил он, будто оправдывался. – Я о чем: у Тедди и Луизы свои семьи, Лидия в школе-интернате. Так что дома один только Роли, верно? *Всё* меняется, и неважно, нравится нам это или нет.

– Да, но вообще-то я жду этого с нетерпением. Как только Роли пойдет в школу, я попробую найти какую-нибудь работу. Возвращаться к моей довоенной жизни не хочется совсем. Мне бы лучше найти настоящее дело, чтобы и отпуск был, как полагается. О, дорогой, я жду

не дождусь, когда у нас будет яхта! Помнишь наше первое плавание под парусом в Корнуолле? На редкость жаркое выдалось лето – а как мы ловили скумбрию и съедали тем же вечером? А муравьи! Помнишь, как мы наблюдали за ними на крыльце того крошечного отеля? Как они несли что-нибудь, доходили до края ступеньки, бросали вниз крошку, что несли, и сами быстро спускались, чтобы забрать ее уже внизу. И Маннеринги были с нами. Помню, ты решил, что Инид ужас какая симпатичная, и я так ревновала.

– Глупости, – ответил он. – Странно, муравьев я не помню. Только жуткий бугристый теннисный корт, где мы играли, да еще как Рори вечно не везло в бридж.

Он улегся рядом с ней в постель.

– Тянет тебя к парусам, как утку к воде, – сказал он, обнял ее одной рукой, а другой задрал ей подол ночной рубашки.

Она уснула, довольная тем, что он сделал, что хотел, и с облегчением оттого, что времени ему понадобилось меньше, чем обычно.

4. Отверженные

Январь – апрель 1946 года

Если бы за шесть бесконечных лет войны кто-нибудь сказал ему, что, когда все кончится, ему всерьез будет *недоставать* ее, он оскорбился бы и решил, что его нарочно дразнят. А теперь, бесцельно существуя в кукольном домике, который Джессика считала таким удобным, он был вынужден признать, что и *вправду* скучает по ней, причем по нескольким причинам сразу. Первый кризис случился осенью, когда он ездил проверить, что стало с его домом во Френшеме. Само собой, он был лишь рад, когда Нора с Ричардом переселились туда после свадьбы: благодаря им дом не реквизируют, тем более что Нора вознамерилась устроить там приют для инвалидов из числа бывших военных. Но он считал это решение временным, пока идет война: ему всегда представлялось, как он водворяется там – деревенский сквайр, впервые за все время ведущий ту жизнь, в которой видел свое предназначение. Джессика предупредила, что дом изменился, но он не воспринял ее всерьез. В поезде он принялся строить планы, как выделит в доме что-то вроде квартиры для Норы и Ричарда (Джессика говорила, что выставить их было бы жестоко по отношению к Норе).

Он ехал в поезде по знакомому пути, с нежностью вспоминал тетю Лину, которой принадлежал дом, и то, как часто ездил именно этим поездом, в три тридцать пять, когда его отправляли к тете на каникулы. Эти поездки он обожал: бездетная тетя Лина баловала его, как только могла. На станции его встречал Паркин, называл «молодым господином Реймондом» и соглашался с ним во всем. По прибытии он спешил к тете, поцеловать ее в пухлую, как подушка, щеку. В любое время года здесь был растоплен огромный угольный камин, и уже через десять минут горничная принималась сервировать роскошный, чудесный чай. Сэндвичи с яйцом, scones с клубничным джемом и восхитительным сливочным маслом, на срезе которого проступали капельки воды, сэндвичи с горчицей и кресс-салатом, имбирная коврижка, кекс с тмином или вишней и в довершение всего чудесный десерт, облитый глазурью, с надписью «С приездом, Реймонд!», выведенной той же глазурью, только другого цвета. Неглубокие чашечки были расписаны драконами. Тетя Лина всегда уверяла, что не хочет есть, но обычно съедала всего понемножку и угощала его, советуя следовать ее примеру. После чая, когда горничная убирала со стола, тетя Лина читала ему «Детей воды» или тонкую потрепанную книжицу о похождениях какого-то брауни – проказливого, но незлого эльфа. Когда он подрос, они играли в шашки, в халму или составляли слова из букв. Эмалевые часы на каминной полке нежным серебристым перезвоном отмеряли каждые четверть часа, в шесть тетя Лина звонком вызывала свою камеристку Баркер, и та вела его сначала купаться, потом – в комнату, которая почему-то называлась классной, где его уже ждали тарелка с хлебом, молоком и коричневым сахаром и сваренное вкрутую яйцо. Когда он уже лежал в постели, тетя Лина приходила пожелать ему спокойной ночи. По вечерам она переодевалась в черный шелк, куталась в белую кашемировую шаль и вдевала в уши длинные затейливые сережки в виде корзинок с цветами, усыпанные мелким речным жемчугом. Она слушала, как он читает молитву, целовала его в лоб и, бывало, снова звала Баркер: «У мальчика волосы мокрые после купания, надо высушить их – позаботьтесь об этом, хорошо, Баркер?» Потом он слышал звуки ее мучительного, сбивчивого отступления и постукивание трости по ступенькам. Так начинались идиллические семь дней ласк и баловства в центре безраздельного внимания тети Лины и ее слуг, для которых его приезд означал краткое, но желанное разнообразие после отупляющей размеренности их привычной жизни. Ему готовили его любимые блюда, радовали приятными поездками, в том числе лучшей из них – в Гилфорд с тетей Линой, выбирать ему подарки на Рождество и день рождения, но блаженствовал он прежде всего потому, что внимание, которым его окружали, было лишено какого бы то ни было оттенка критики. Что бы он ни делал, все было умно и

замечательно; он был «таким славным ребенком», о чем, он сам слышал, тетя Лина охотно рассказывала всем, и с восторгом оправдывал эту упоительную репутацию. Здесь все было совсем не так, как дома, где его отец подолгу и прилюдно распространялся насчет его тупости – его посредственных отметок в школьной табеле, его парализующей неспособности давать верные ответы на ужасающие вопросы, преподнесенные как общеизвестные и «элементарные» знания и составляющие излюбленную тему для разговоров его отца за обедом. «Ума не приложу, чему тебя учат, – под конец высказывался он. – В жизни не видывал такого невежды». Мать его не порицала, но почти не обращала на него внимания. Ее внимание было всецело приковано к его старшему брату Роберту, которого убили на войне. Однажды Роберт ездил вместе с ним к тете Лине, но открыто признался, что ему скучно, вдобавок так здорово нашкодил, что об этом было лучше и не спрашивать (во всяком случае, сколько он ни спрашивал, ему никто не объяснил). «Нет, к сожалению, отнюдь не *славный*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.